

ЖОРЖ  
НИВА



СОЛ  
ЖЕНИ  
ЦЫН

ОПІ

Памяти моего дорогого учителя,  
ПЬЕРА ПАСКАЛЯ (1890-1983),  
и моего друга и наставника в Оксфорде,  
МАКСА ХЭЙУОРДА (1924-1979)

Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий.  
ИСАИЯ

Чтобы оправдать поступки,  
прежде почитавшиеся неблаговидными,  
изменяют общепринятый смысл слов.  
ФУКИДИД

Линия, разделяющая добро и зло,  
пересекает сердце каждого человека.  
И кто уничтожит кусок своего сердца?  
А. СОЛЖЕНИЦЫН, *Архипелаг ГУЛаг*

---

GEORGES NIVAT  
**SOLZHENITSYN**

---

TRANSLATED  
FROM FRENCH  
BY SIMON MARKISH  
IN COLLABORATION  
WITH THE AUTHOR

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD  
LONDON 1984

---

# ЖОРЖ НИВА СОЛЖЕНИЦЫН

---

ПЕРЕВЕЛ  
С ФРАНЦУЗСКОГО  
СИМОН МАРКИШ  
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С АВТОРОМ

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD  
LONDON 1984

Georges Nivat: SOLZHENITSYN  
Translated from French by Simon Markish  
in collaboration with the author

First Russian edition published in 1984  
by Overseas Publications Interchange Ltd  
8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Originally published in French under the title 'Soljenitsyne'

Copyright © Editions du Seuil. 1980  
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1984

**All rights reserved**

No part of this publication may be reproduced,  
in any form or by any means, without permission.

**ISBN 0 903868 76 8**

Cover design by Danuta Niekrasow-Heller

Printed in England  
by Multilingual Printing Services (UPL)  
200, Liverpool Road, London N1 1LF

## К РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Эта книга – расширенный и измененный вариант французского издания, выпущенного в свет издательством „Сей” в 1980 году. Переход от французского читателя к русскому потребовал некоторых переделок. В ряде пунктов мысли мои уточнились. Я воспользовался замечаниями нескольких читателей, очень внимательных и очень требовательных.

Вероятно, рискованно с моей стороны предлагать русскому читателю разбор самого русского из писателей, какого дало нынешнее возрождение русской словесности. Это его назвала Лидия Чуковская „возвращающим нам родной язык, любящим Россию, как Блоком сказано, оскорбленной любовью”.

Я надеюсь, что этот взгляд со стороны, взгляд иностранца, поможет некоторым лучше увидеть писателя, которому посвящена моя книга.

Жорж Нива

Эзри, 27 июля 1983

N.V. Цифры на полях означают том и страницу Собрания Сочинений, YMCA-Press, Вермонт-Париж, 1978 –.

БТ = *Бодался теленок с дубом* (Париж, 1975).

ЛЦ = *Ленин в Цюрихе* (Париж, 1975).

СЧ = *Сквозь чад* (Париж, 1979).

Стр-263-страница  
17-5-5,6,7

Теле

мисл

17-5-13

с ним не выйдут Борисы мисл

с ним не выйдут Хариты, что-то слышала бы

18-5-5

Леминд, сестра, сестра-сестра, ура

сестра, сестра, и не слышала бы выходящих

18-5-11

с уродливой Харитой

с уродливой, и в сестрах, и в сестрах

18-5-12

мисл

распространенных Харитой, мисл

19-2-3

или Харитой Харитой

или Харитой Харитой

20-3-4

или Харитой

или Харитой

20-5-1

Григорий Харитой

Григорий Харитой

21-2-3

во имя Харитой

во имя Харитой

2-5

и Харитой

и Харитой

2-8

Зачем Харитой

Зачем Харитой

2-14

(Харитой Харитой)

(Харитой Харитой)

21-23 1-6

ни Харитой

ни Харитой

1-14

"Харитой Харитой"

"Харитой Харитой"

21-24 4-5

лучше Харитой

лучше Харитой

4-5-75

лучше Харитой

лучше Харитой



Солженицын и его мать, Таисия Щербак





„Лягерка”

Слева направо: Александр Солженицын, Кирилл Симонян, Наталия Решетовская, Николай Витковский  
и Лидия Ежрец (май 1941)

„Дед Ефим... рассказывал, что на его пращура напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжег, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гонялись на тачанках, да стригли овец. Окоренились” (*Август Четырнадцатого*).

XI, 24

Со стороны отца Солженицын происходит из старинной крестьянской семьи, поселившейся в Ставрополе, к северу от Кавказа. Его дед, Семен, с четырьмя сыновьями и дочерьми обрабатывал средних размеров хутор. Младший сын Семена, Исаакий,<sup>1</sup> учился в Харькове, потом в Москве, ушел добровольцем на войну; на фронте, летом 1917, женился на Таисии Щербак; был награжден за храбрость. После возвращения домой был ранен на охоте и умер от раны 15 июня 1918 года. Он выведен в *Августе Четырнадцатого* в образе Сани Лаженицына.

Семья матери Солженицына, Щербак, была богатой семьей на Кубани, где его дед Захар, до конца дней сохранявший свой украинский выговор, владел „экономией” – обширным поместьем, которым он управлял на очень современный лад. „... В детстве он был простым чабаном в Таврии, пас чужих овец и телят... Они, тавричане, приехали на Кавказ найматься батрачить, и получал он тогда много меньше, чем платит сейчас последнему приходящему рабочему...” (*Август Четырнадцатого*). Этот дед с материнской стороны – Томчак в *Августе Четырнадцатого* – дал своей дочери Таисии прекрасное воспитание: она училась на знаменитых Бестужевских курсах в Петербурге. Брат Таисии, Роман, сорил деньгами, купил „Роллс-Ройс”; фотографию этого автомобиля воспроизвела *Литературная газета* в 1972 году, в разгар кампании против Солженицына.

XI, 50

1918 11 декабря. Рождение в Кисловодске Александра Солженицына через шесть месяцев после смерти его отца. Немного спустя умирает его дед с отцовской стороны. Дед с материнской стороны скрывается у своих бывших работников, которые дают ему кров и пищу до самой смерти.

<sup>1</sup> Все примечания даны в конце книги

1924 Таисия Солженицына с шестилетним сыном поселяется в Ростове-на-Дону, куда десятью годами раньше ее отец приезжал покупать новейшие английские сельскохозяйственные машины: „Больше всего он ездил в Ростов насчёт машин: все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют” (*Август Четырнадцатого*).

XI, 47

Александр ходит с матерью в церковь, но скоро последний храм в Ростове закрывают. Он вступает в Комсомол и живет обычной жизнью советского школьника, достаточно радостною, несмотря на денежные трудности матери и плохую квартиру. Тем не менее он никогда не забудет „своего раннего детства, проведённого во многих церковных службах, и того необычайного по свежести и чистоте изначального впечатления, которого потом не могли стереть никакие жернова и никакие умственные теории” (*Письмо патриарху Пимену*).

IX, 120

В школе он присоединяется к группе молодых людей, которые поступят вместе с ним в университет и, в той или иной мере, разделят его судьбу. Это „Кока” (Николай) Виткевич, у которого позже вырвут несколько нелестных для Солженицына высказываний о его поведении в лагере и с которым капитан Солженицын переписывался перед своим арестом. Кирилл Симонян, который стал врачом и, позже, уступив нажиму, написал против своего бывшего друга памфлет на потребу КГБ. Лида Ежерец, единственная, у кого была хорошая квартира, где друзья и собирались: писали импровизированные романы, устраивали спиритические сеансы. Наконец, Наталья Решетовская, его первая жена, позже написавшая книгу о своем муже, которую издало агентство печати „Новости” для распространения за границей.

Этим детством, сравнительно счастливым, юный Солженицын – староста класса, любитель футбола, поклонник театра, участвовавший во всех школьных постановках (Чехов, Ростан, Лавренев), – был обязан самоотверженности своей матери, которая из-за него не вышла снова замуж, и относительно социальному миру, царившему в провинциальном Ростове.

1936 Поступление в Ростовский университет: Солженицын выбирает физико-математический факультет, его друзья – химический, а Наталья Решетовская занимается, к тому же, и в Консерватории. Покупка велосипеда и первые далекие поездки на Кавказ в обществе друга „Коки”. „От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать,

отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба...” (*Август Четырнадцатого*).

XI, 11

**1937** Начало Больших процессов в Москве. Позже, говоря о своем бывшем товарище Симоняне, Солженицын напишет: „О 37-м годе и пытках его – ты один из нас чётко знал, и мне втолковывал, а я плохо воспринимал”.

**1939** Солженицын и его друг „Кока” поступают на заочное отделение Московского института истории, философии, литературы. Одновременно он продолжает свои занятия на физмате в Ростове, сдает экзамены, преподает астрономию и математику в городке Морозовске, к северу от Ростова. Наталья Решетовская получает назначение в ту же школу; они женятся 27 апреля 1940.

**1941** Солженицын заканчивает университет в Ростове и приезжает в Москву на экзамены в МИФЛИ.

В октябре 1941 Солженицын мобилизован. Сперва он простой солдат, потом его посылают в офицерскую школу в Костроме, на Волге, меж тем как его жена и мать эвакуируются из Ростова.

**1942** Лето. Он получает звание лейтенанта, проводит две недели на транзитном пункте Горьковского вокзала (отсюда он позже возьмет обстановку и атмосферу для рассказа *Случай на станции Кочетовка*<sup>2</sup>). Потом его отправляют в Саранск, где формируется артиллерийская группа разведки. В свободные вечера он берется за перо – сочиняет несколько небольших рассказов, один из которых носил название *Лейтенант*. В конце 1942 он на фронте; со своим соединением Солженицын проходит путь от Орла до Восточной Пруссии. Он командует „звукобатареей”, задача которой – выявлять вражескую артиллерию. В 1946, через год после ареста, он получил от своего бывшего начальника, генерала Травкина, „боевую характеристику”: „За время пребывания в моей части Солженицын был лично дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным, его подразделение по боевой работе и дисциплине считалось лучшим подразделением части. Выполняя боевые задания, он неоднократно проявлял личный героизм, увлекая за собой личный состав, и всегда из смертельных опасностей выходил победителем”. В характеристике упоминается ночь с 26 на 27 января 1945 года в Восточной Пруссии, когда Солженицыну удалось вывести свою батарею из окружения (та же ночь описана самим Солженицыным в *Сквозь чад*). Характеристику генерала Травкина цитирует Решетовская в открытом письме от апреля 1980 – ответе советскому журналисту М. Яковлеву.

1944 17 января. Смерть матери Солженицына. В том же году Солженицын получает, один за другим, два ордена. Его производят в капитаны.

1945 Его переписка с другом „Кокой” Виткевичем попадает под надзор военной контрразведки. В письмах они говорят открыто о своих „политических негодованиях”, обозначая Ленина уменьшительным „Вовка”, а Сталина – кличкой „Пахан”, 9 февраля капитан Солженицын был арестован на командном пункте своего начальника, генерала Травкина. „У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас, – и лишил только привычного дивизиона да картины трёх последних месяцев войны” (*Архипелаг ГУЛаг*). Следствие проходило в Москве, в Лубянской тюрьме, описанной в *Круге первом*; затем Солженицына перевели в Бутырскую тюрьму. 27 июля 1945 года он был осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58-ой Уголовного кодекса, пункты 1 и 11. .... В похвалу этой статье можно найти ещё больше эпитетов, чем когда-то Тургенев подобрал для русского языка или Некрасов для Матушки-Руси: великая, могучая, обильная, разветвлённая, разнообразная, всеподметающая Пятьдесят Восьмая, исчерпывающая мир...” (*Архипелаг ГУЛаг*).

V, 28

V, 67

Его первый лагерь был в Новом Иерусалиме, рядом с Москвой, второй – в самой Москве (стройка у Калужской заставы).

Его жена устраивается в Москве и получает свидания с мужем. Этот первый ГУЛаговский опыт отражен в пьесе *Олень и шалашовка*.

1947 Июнь. Солженицын переведен в Марфинскую „шарашку”, или „спецтюрьму № 16” в северном пригороде Москвы. Он работает в акустической лаборатории, испытывает новые „модели артикуляции”. Он завязывает дружбу с инженером Паниным и германистом Копелевым. Свидания с женой, которые разрешает ему администрация, происходят в Таганской или Лефортовской тюрьме. „Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стелл – плит-барельефов, где изображался и сам мертвец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стеллах всегда маленькая полоса, отделявшая мир ту-сторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не веселым и не грустным – прозрачным, слишком много узнавшим взглядом” (*В круге первом*).

I, 278

Он сочиняет в уме автобиографическую эпопею „Дороженька”,

которую повторяет наизусть с помощью четок. „А очищенная от мути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, – скорей туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив” (*Архипелаг ГУЛаг*).

VII, 105

1949 Май. Солженицына этапируют в лагерь „на обшие работы” – в Азию, в Экибастуз, к северу от Караганды (Казахстан). Он работает литейщиком, потом каменщиком (как его герой Иван Денисович). Он становится бригадиром. Он продолжает сочинять огромную поэму „Дороженька”, из которой позже восстановит главы 8 („Прусские ночи”) и 9 („Пир победителей”). Решетовская разводится с ним, получает назначение в Рязань, снова выходит замуж.

1952 22-28 января. Солженицын принимает участие в Экибастузской „смуте”. „Но сколько глубоких историков, сколько умных книг, – а этого таинственного возгорания людских душ, а этого таинственного зарождения общественных взрывов не научились предсказывать, да даже и объяснять вослед” (*Архипелаг ГУЛаг*). Сразу после этого бунта (который перекинулся на лагеря в Жезказгане и Кентгире), 12 февраля, лагерный хирург в лагерной больнице оперирует Солженицына по поводу злокачественной опухоли в паху. Ткань, иссеченную при биопсии, отправляют на анализ в „вольную” лабораторию, результаты теряются. Больной быстро поправляется и выписывается из больницы 26 февраля.

VII, 255

1953 Февраль. Солженицын освобожден из лагеря и выходит на „вечное ссыльнопоселение” в ауле Кок-Терек (Зеленый тополь) Джамбульской области (Казахстан), на границе пустыни.

5 марта. Смерть Сталина и первые вольные шаги Солженицына. „Тó ли место любить на земле, где ты выполз кричащим младенцем, ничего еще не осмысливая, даже показаний своих глаз и ушей? Или то, где первый раз тебе сказали: ничего, идите без конвоя! с а м и идите! Своими ногами! „Возьми постель твою и ходи!” (*Раковый корпус*).

IV, 256

Он снимает угол в глинобитной хатке, у хозяйки, потом покупает собственный домишко. Глубоко сердечная дружба связывает его с супругами Зубовыми, врачами, такими же ссыльными, как он сам. Под именем Кадминых они выведены в *Раковом корпусе*, подлинная их история рассказана в *Архипелаге*. Он пишет и прячет мелко ис-

писанные листы в бутылку из-под шампанского. Осенью болезнь возобновляется – появляются боли в желудке. Он проходит обследование в Джамбуле, возвращается в Кок-Терек, пытается лечиться корнем мандрагоры.

III, 187

1955 Ему разрешают выехать на лечение в Ташкент, провести несколько месяцев в больнице – по поводу новой опухоли (в желудке). Он добирается до Ташкента полумертвым, как Костоготов в *Раковом корпусе*. „В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда – умирать. А меня вернули пожить еще” (*Правая кисть*). Его пользует доктор Дунаева (Донцова в *Раковом корпусе*) – рентгеновскими облучениями семиномы. Он с головой уходит в писание, и в феврале рак отступает. Впоследствии Солженицын признаётся друзьям, что вплоть до сегодняшнего дня он уверен: пока он пишет – у него отсрочка.

1956 6 февраля. Солженицын реабилитирован решением Верховного Суда СССР. В июне 1956 он расстается с Кок-Терекком, едет в Москву, где его принимают Панин и Копелев, потом в Ростов, город своего детства. Он получает назначение в сельскую школу учителем физики, школа находится в поселке Торфопроduct близ Рязани. Он снимает комнату у Матрены Захаровой в деревне Мильцево. Бывшая жена навещает его. Зимой 1956-1957 Матрена гибнет под колесами поезда. Решетовская и Солженицын решают пожениться вновь.

1957-1959 Солженицын поселяется в Рязани, с женой и тещей. Он работает над *Кругом первым* – в полной тайне, продолжая преподавать. „В лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе” (*Бодался теленок с дубом*).

1959 Написан за три недели *Один день Ивана Денисовича*. Поездка в Ленинград. Первая встреча с Натальей Светловой. „... С тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких – замкнутых упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда...” (*Бодался теленок с дубом*). Работа над сценарием *Знают истину танки*.

1960 Он пишет пьесу „Свет, который в тебе” (*Свеча на ветру*), выведенную к жизни конкретной ситуацией, перенесенной, однако, на





← „Жук”, собака Зубовых, навещает Солженицына в Кок-Тереке.  
„Жук – ростом и статью в немецкую овчарку, но нет в нем овчарской настороженности и злобности, его затопляет добродушие крупного, сильного существа”.

абстрактный Запад. Сам автор расценивает эту работу как неудачу.

1961 Пишутся *Крохотки* – стихотворения в прозе. После Двадцать Второго Съезда он решает попытаться напечатать *Один день Ивана Денисовича*. Копелев приносит рукопись в журнал *Новый мир*. В конце декабря Солженицын едет в Москву по приглашению Твардовского. Он перевозит свой архив к другу своей жены, инженеру и антропософу Теушу, „под новый 62 год”.

1962 Декабрь. После долгих переговоров с властями Твардовский получает разрешение Хрущева и печатает в № 11 своего журнала *Один день Ивана Денисовича*, снабженный коротким предисловием. Весть об этой публикации облетает весь мир. Солженицын сразу становится знаменитостью. Его представляют Хрущеву на одном из кремлевских приемов. В том же месяце *Правда* публикует отрывок из рассказа *Случай на станции Кочетовка*.

1963 В *Новом мире* напечатаны *Матренин двор* и *Случай на станции Кочетовка*. В советской прессе раздаются первые враждебные Солженицыну голоса, между тем как автор получает от читателей *Ивана Денисовича* бесчисленные письма, из которых, немного спустя, он составит антологию (*Читают „Ивана Денисовича”*).

*Новый мир* публикует рассказ *Для пользы дела*, написанный специально для этого журнала, и выдвигает кандидатуру Солженицына на Ленинскую премию. „Моя несчастная слава начинала втягивать меня в придворно-партийный круг. Это уже порочило мою биографию” (*Бодался теленок с дубом*).

Поощряемый вниманием исполнинской читательской аудитории, Солженицын переживает небывалый творческий подъем – начинает „непомерно много сразу”: *Архипелаг ГУЛаг* (материалы стекаются от всех бывших заключенных страны; в предисловии к *Архипелагу* Солженицын выразит признательность 227 из них), *Раковый корпус*, роман о революции 1917 года.

Он начинает „чистить” *Круг первый* для возможной публикации. Большею частью он работает за городом – в Солотче близ Рязани, в березовой роще на берегу ручья.

1964 Солженицын покупает летнюю избушку рядом с деревней Рождество на реке Истье (к юго-западу от Москвы) и расстается с учительством. Его кандидатура на Ленинскую премию отклонена – предвесье близкого падения Хрущева, покровителя Солженицына. На Пасху Александр Твардовский приезжает на три дня в Рязань – читать роман *В круге первом* („очищенный” вариант).

*Крохотки*, которые ходят в самиздате, приобретают широкую известность.

Октябрь. Свержение Хрущева. Солженицын в Тамбовской области, он разыскивает очевидцев крестьянского восстания на Тамбовщине в 1920-1921 гг. Начинает писать историческую эпопею „Р 17” (*Красное колесо*).

1965 Сентябрь. Обыск у Теуша. КГБ захватывает много рукописей, в том числе – *Круг первый*, лагерные поэмы, пьесы (в частности – *Пир победителей*); об этом рассказано подробно в книге Ильи Зильберберга *Необходимый разговор с Солженицыным* (вышла в 1976 году в Англии). Солженицын поселяется в Переделкине у К. И. Чуковского.

1966 Солженицын продолжает в разных местах (Рождество-на-Истье, Солотча и другие „норы”, иронически обозначаемые общим именем „Укрывище”) писание *Архипелага*, который будет закончен в 1968. „Нагрять сейчас ГБ – и слитный стон, предсмертный шёпот миллионов, все невысказанные завещания погибших – все в их руках, этого мне уже не восстановить, голова не сработает больше” (*Бодался теленок с дубом*).

В январском номере *Нового мира* напечатан *Захар-Калита*. Солженицын передает журналу Твардовского рукопись *Ракового корпуса*.

Февраль. Процесс писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля и обвинительный приговор. Начало открытого „диссидентства”.

Сентябрь. *Новый мир* публикует большую статью критика Лакшина против хулителей Солженицына.

17 ноября. Собрание секции прозы Московского отделения Союза писателей, созванное по просьбе Солженицына: обсуждается *Раковый корпус*. Положительный отзыв Каверина. Собрание рекомендует роман к печати. Солженицын чувствует неуверенность ГБ и заключает: „Я стал идеологически экстерриториален”.

30 ноября. Единственное публичное выступление Солженицына в СССР – „у физиков в институте Курчатова”, незадолго до того, он „ничего не нёс сказать, а только почитать”. Геперь, в Лазаревский институт востоковедения, он „пришёл говорить!” И он вспоминает: „Кажется, первый раз, первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю” (*Бодался теленок с дубом*).

1967 Весна. Обращаясь к заметкам и черновикам двадцатилетней давности, Солженицын отдается работе над большим историческим романом о революции 1917 г. („Р 17”). „Тот роман уже 30 лет –

с конца 10-го класса, у меня обдумывался, перетряхивался, отлёживался и накапливался, всегда был главной целью жизни, но ещё практически не начат, всегда что-то мешало и отодвигало” (*Бодался теленок с дубом*).

Март. Интервью со словацким журналистом Павелом Личко.

22 мая. Открытие Четвертого Съезда Союза писателей СССР. Солженицын обращается к делегатам с открытым письмом, в котором обличает вред цензуры, а также преследования, направленные против него лично. „Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой – явной или скрытой – цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист”.

Шолохов требует: „Не допускать Солженицына к перу!”

Можно утверждать, что именно с этих пор, с мая 1967 года, начинается открытая и беспощадная борьба писателя Солженицына против советской власти.

Он начинает записывать главные эпизоды этой борьбы в „очерках литературной жизни”, которые получат заглавие *Бодался теленок с дубом*. „Охотники знают, что подранок бывает опасен” (последняя фраза, занесенная в рукопись будущего *Теленка* накануне отправки письма Съезду).

Последняя туристская поездка по центральной России с женой, Решетовской, и общими друзьями, Ефимом и Екатериной Эткиндами. Солженицын расходится со своей первой женой.

12 сентября. Солженицын еще раз обращается в Союз писателей с требованием, чтобы Союз отмежевался от клеветы против него.

22 сентября. Солженицын вызван на заседание Секретариата Союза писателей: он остается на своих позициях.

1968 Солженицын укрывается близ Солотчи, под Рязанью, в холодной избе Агафьи (второй Матрены). Он пишет, не покладая рук, первый узел „Р 17” – *Август Четырнадцатого*. „Обложился портретами самсоновских генералов и дерзал начать главную книгу своей жизни”. Работа продолжается в Рождестве-на-Истье.

16 апреля. Солженицын распространяет среди членов Союза писателей документы о своем столкновении с Секретариатом Союза. Он чувствует, что миссия его исполняется: „Шла Вербная неделя как раз, не холодная. В субботу 13-го пошёл даже снег, и обильный, и не таял. А в вечерней передаче БиБиСи услышал: в литературном приложении к *Таймсу* напечатаны „пространные отрывки” из *Ракового корпуса*. Удар! – громовой и радостный! Началось! Хожу и хожу по прогулочной тропке, под весенним снегопадом – началось! И ждал – и не ждал. Как ни жди, а такие события разражаются раньшеждан-

ного” (*Бодался теленок с дубом*).

*Раковый корпус* и *В круге первом* выходят за границы.

26 июня. *Литературная газета* публикует краткое письмо Солженицына, которое она придерживала уже несколько месяцев. Солженицын осуждает заграничные издания и „поспешность” переводчиков. Письмо сопровождается пространной и враждебной статьей. Между тем Солженицыну удается передать на Запад микрофильм рукописи *Архипелага ГУЛаг*. „Как на гавайском прибое у Джека Лондона, стоя в рост на гладкой доске, никак не держась, ничем не припутан, на гребне девятого вала, в раздире легких от ветра – угадываю! предчувствую: а э т о – пройдёт! а э т о – удастся! а это **сплоают наши!**” (*Бодался теленок с дубом*).

Отрывок из *Ракового корпуса* появляется в чехословацком журнале *Пламен* (Прага).

21 августа. Вторжение в Чехословакию. Солженицын набрасывает листовку в герценовском духе: „Стыдно быть советским!”, но отказывается от мысли ее напечатать, чтобы не подставить под удар *Архипелаг*. „Надо горло побережь для главного крика. Уже недолго осталось”.

Декабрь. Солженицын узнает, что ему присуждена в Париже премия „За лучший иностранный роман”.

Он продолжает работу над „Р 17”, в частности – в архивах Исторического музея.

1969 Лето. Путешествие по северной России, по берегам Пинеги, к истокам старообрядческого духа сопротивления. В этой поездке Солженицына сопровождает Наталья Светлова, с которой они задумывают издавать самиздатовский национальный журнал. (Этот замысел приобретет первые конкретные черты несколько лет спустя – в сборнике *Из-под глыб*.)

4 ноября. Исключение из Рязанского отделения Союза писателей. Солженицын присутствует на заседании, горячо отбивается. Он приводит товарищам по перу некрасовские строки: „Кто не знает печали и гнева,/ Тот не любит отчизны своей”.

12 ноября. Официальное извещение об исключении. Солженицын обращается к Союзу писателей с открытым письмом. Он резко нападает на членов Секретариата: „Расползаются ваши дебелые статьи... аргументов нет, есть только голосование и администрация”. Он обвиняет их в слепой ненависти и бросает: „Всё-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, – это человечество”.

По случаю пятидесятилетия Солженицын получает бесчисленные поздравления и приветствия.

Солженицын живет в фактическом браке с Натальей Светловой,

московским математиком, очень активной и известной среди инакомыслящих (диссидентов). Он пытается получить развод от первой жены. Прописка в Рязани (где живет Решетовская, первая жена) потеряна, московской прописки нет. Он находит приют у виолончелиста Мстислава Ростроповича в подмосковном дачном поселке Жуковка. „Да при дремлющем роке и само житьё у Ростроповича в блаженных условиях, каких у меня никогда в жизни не было (тишина, загородный воздух и городской комфорт), тоже размагничивало волю” (*Бодался теленок с дубом*).

1970 Рождение старшего сына Солженицына, Ермолая.

Присуждение Солженицыну Нобелевской премии по литературе, по инициативе французского писателя Франсуа Мориака; Солженицын отказывается от поездки в Стокгольм (для получения премии). Статьи в газетах и журналах всего мира. 14 октября дань уважения писателю приносит французский коммунистический еженедельник *Летр франсез*: автор статьи-поздравления „Самому великому из ныне живущих писателей России” – Пьер Дэкс, главный редактор еженедельника – Луи Арагон.

Солженицын поручает ведение своих дел цюрихскому адвокату Хеебу.

1971 В Париже выходит по-русски первый узел исторической эпопеи „Р 17” – *Август Четырнадцатого*; книга завершается после словием, обращенным к читателям-эмигрантам. КГБ устраивает обыск в домишке в Рождестве-на-Истье. 1971 год – своего рода передышка в борьбе: „Хотя и следующий, 71-й, год я совсем не бездеятельно провёл, но сам ощутил его как проход полосы затмения решимости и действия” (*Бодался теленок с дубом*).

18 ноября. Западногерманский журнал *Штерн* публикует интервью с теткой Солженицына по матери, где делаются намеки на его социальное происхождение. *Литературная газета* проворно перепечатывает статью из *Штерна*.

Рождение второго сына, Игната.

1972 Великопостное письмо патриарху Пимену.

Смерть Твардовского.

Февраль. Встреча с Генрихом Беллем. Вернувшись на Запад, Белль удостоверяет подлинность завещания, которое Солженицын направил адвокату Хеебу в Цюрих. Он вывозит один экземпляр *Архипелага*.

30 марта. Интервью газетам *Нью Йорк таймс* и *Вашингтон пост*. Солженицын опровергает клевету, которая льется на него с каких-то тайных трибун, жалуется, что ему закрыт доступ в архивы его соб-

ственной страны, что собирать материалы о России ему труднее, чем если бы он писал о Полинезии. Возражая на статью в журнале *Штерн*, он объясняет свою родословную.

Один финский журналист публикует – с очевидным недобрым умыслом – книжку, в которой изобличает „германофильство“ автора *Августа Четырнадцатого*.

Апрель. Вручение Солженицыну Нобелевской премии представителем Шведской Академии отменено в результате хитрых маневров шведского посольства в Москве. Солженицын дает по этому поводу объяснения в заявлении для печати.

21 августа. „Открытое письмо“ министру внутренних дел с протестом против преследований, которым он подвергается в своей семейной жизни (бесконечные откладывания бракоразводного процесса, запрещение жить в Москве, в квартире Н. Светловой, фактической жены Солженицына, матери его детей). Писатель саркастически напоминает министру, что крепостное право отменено в России уже сто двенадцать лет назад и что Октябрьская революция, как видно говорят и пишут, уничтожила последние его следы.

23 августа. Интервью газете *Монд* и агентству печати „Ассошиэйтед пресс“. Снова жалуясь на притеснения, которые он терпит. Солженицын призывает к жертвенности и заявляет, что „тюрьма наша отступает и прячется“.

**1973** Август. В Москве начинается процесс Якира и Красина. Сахаров заявляет на пресс-конференции: „СССР – это огромный концлагерь“.

3 сентября. Солженицын узнает, что Елизавету Воронянскую, которая перепечатывала *Архипелаг ГУЛаг* и спрятала у себя – без его ведома – один экземпляр машинописи, допрашивали три дня без перерыва в КГБ и она выдала тайник; после этого Воронянскую нашли повесившейся у себя в комнате. Двумя днями позже Солженицын оглашает эту новость и отдает распоряжение печатать *Архипелаг* на Западе. „Бирнамский лес пойдет“. Угрозы и анонимные письма множатся.

Конец декабря. В Париже в издательстве ИМКА-Пресс (руководитель – Никита Струве) выходит по-русски первый том *Архипелага ГУЛаг*. „С плеч – да на место камушек неподъёмный, окаменелая наша слеза“ (*Бодался теленок с дубом*).

Октябрь. Рождение третьего сына, Степана.

**1974** Январь. Кампания против Солженицына в советской прессе достигает неслыханного накала. 19 января в интервью журналу *Тайм* Солженицын заявляет: я верю в наше раскаяние и в наше духовные очищение.

12 февраля. „Московский призыв“: призыв к сопротивлению и отказу от всякой лжи („Жить не по лжи“).

13 февраля. Арест, заключение в Лефортовскую тюрьму. Солженицын лишен советского гражданства и осужден на изгнание. Специальным самолетом его доставляют в Западную Германию. Во Франкфуртском аэропорту его встречает писатель Генрих Белль. Солженицын поселяется в Цюрихе, где живет его адвокат и где он находит следы Ленина в эмиграции.

20 февраля. *Литературная газета* печатает огромную статью „о предательской деятельности А. И. Солженицына“.

3 марта. Публикация *Письма вождям*, отправленного за полгода до того руководителям СССР и призывающего их положить конец идеологической монополии марксизма и развивать северо-запад русских пространств.

Наталья Светлова-Солженицына получает разрешение присоединиться к мужу, а с нею – четверо детей (старший – от первого брака) и мать.

17 июня. В интервью агентству печати СиБиЭс Солженицын критикует тех своих соотечественников, которые эмигрируют добровольно, и сокрушается о слабости Запада. Он объявляет о создании „Русского общественного фонда помощи заключенным и их семьям“. Все доходы от продажи *Архипелага ГУЛаг* полностью будут поступать в этот фонд.

Ноябрь. Солженицын устраивает пресс-конференцию на своей вилле в Цюрихе и представляет собравшимся сборник *Из-под глыб*. Направление сборника – религиозное и национальное. Солженицыну принадлежат предисловие „От составителей“ и три статьи – „На возврате дыхания и сознания“, где он уточняет свою позицию в старой полемике с Сахаровым относительно понятия „прогресс“; „О раскаянии и самоограничении“, где он развивает мысли *Письма вождям* о необходимости для России развития „внутреннего“ и ограниченного; и „Образованщина“, где он порицает советскую интеллигенцию, цепляющуюся за свои привилегии, и призывает ее к жертвенности, к самопожертвованию.

Декабрь. Во время встречи в Цюрихе с Полем Фламаном и Клодом Дюраном Солженицын поручает издательству „Сёй“ ведать его авторскими правами в мировом масштабе (с июня 1978 года правами продолжает распоряжаться Клод Дюран в рамках русского издательства ИМКА-Пресс).

1975 Апрель. Поездка в Париж по случаю выхода в свет *Теленка*. Телевизионные дебаты (передача „Апостроф“) и пресс-конференция, на которой Солженицын рассказывает о помощи, оказанной ему



Генрихом Беллем.

Июнь. Поездка в США по приглашению профсоюзов АФТ-КПП. Солженицын произносит две важных речи (30 июня в Вашингтоне, 9 июля в Нью-Йорке), его торжественно принимает американский Сенат. „Американские речи” – предупреждение против ослепленности западных демократий и призыв к твердости.

Октябрь. Выход в свет *Ленина в Цюрихе*, избранных глав из первого и второго „узла” большой исторической эпопеи „Р 17”, теперь получившей название *Красное колесо*.

Выход в свет воспоминаний первой жены Солженицына – по-русски и в Москве, но для продажи исключительно за границей.

1976 Март. Новая поездка в Париж по случаю показа фильма, снятого по *Одному дню Ивана Денисовича*. После фильма (переданного по телевидению) состоялась телевизионная дискуссия с участием Солженицына.

Конец марта. Поездка в Испанию. Испанская левая пресса расценивает заявления Солженицына о мягком и благотворном характере диктатуры в Испании как возмутительные.

Апрель. Интервью английскому телевидению. В этом интервью Солженицын определяет жанр *Ленина в Цюрихе* как творческий поиск. Борис Суварин печатает в журнале *Эст-Уэст* статью, где осуждает эту книгу за ошибки против истории.

Октябрь. Солженицын покидает Цюрих и поселяется в США, в штате Вермонт, близ городка Кавендиш. Он покупает около двадцати гектаров земли; на этом участке, кроме жилого дома, оборудуется библиотека для хранения рукописей и печатных материалов, посвященных России. Некоторые журналисты, недовольные тем, что им отказывают в приеме, изображают в американской печати „новый электронный ГУЛаг” Солженицына. А вот описание, которое дает один американский врач, ставший другом семьи: „Он работает в суровом флигельке в одну комнату, отделенном от главного дома густым лесом. Никому из гостей доступа к нему нет. Каждый Божий день, с семи утра, он в этом своем кабинете. Старые, слишком просторные брюки болтаются на худых ногах. Фланелевая рубашка, поверх которой, в утренней свежести Новой Англии, надет свитер. Нащупывая ручку мозолистыми, околоченными пальцами, он чуть скашивает глаза. Он пишет – по меньшей мере десять, а часто и шестнадцать часов подряд. Написанное покрывает всю поверхность бесчисленных листков и листиков: он старательно избегает какого бы то ни было расточительства. Нередко Александр Исаевич до того поглощен своей работой, что забывает поесть. Его жена, методически и решительно заботящаяся о повседневных нуждах своего мужа,

никогда не прерывает его писания. Когда же он сам останавливается, чтобы утолить голод, в этом нет, разумеется, никакой регулярности, как у простых смертных. Время, отданное еде, он считает растроченным нелепо и попусту” (Уильям Кнаус, *Русская медицина изнутри*).

1977 Сентябрь. Призыв к русским эмигрантам о помощи в создании „Библиотеки русской памяти”.

1976-1979 Стараясь не привлекать к себе внимания, Солженицын посещает различные университеты Америки, обладающие русскими архивными фондами: Гувер Институт (Калифорния), Йэл, Гарвард. Он упорно работает над *Красным колесом*: переделывает первый „узел” (*Август Четырнадцатого*), пишет два следующих (*Октябрь Шестнадцатого* и *Март Семнадцатого*); несколько отрывков появляется в парижском журнале *Вестник русского христианского движения*.

1978 Наталья Солженицына приезжает в Париж для публичной кампании в защиту А. Гинзбурга, Ю. Орлова и А. Шаранского.

Май. Нарушая свое долгое молчание, Солженицын соглашается председательствовать на Актовом дне (годовом выпускном акте) в Гарвардском университете. С этой трибуны он делает торжественное и суровое предупреждение западному миру, виновному в том, что за высшее благо принял „счастье” и оказался слеп к другим самостоятельным культурам (в том числе – к русской). Корнем зла он объявляет западный гуманизм. „Коммерческий базар” на Западе ничем не лучше „партийного базара” на Востоке. Единственный выход Солженицын видит в личном мужестве, пример которого подает Россия.

Эта речь вызвала много споров. Некоторые комментаторы сопоставляли ее с речью Джорджа Маршалла, произнесенной тридцатью годами раньше, только тогда дело шло о плане материальной помощи Европе, а теперь – о помощи моральной всему Западу. Другие комментаторы возмущались „правом не знать”, которого требовал Солженицын, имея в виду крайности свободы печати на Западе, равно как и его апологией „теократии” и узостью его суждений об Америке.

8 июня. Солженицын опровергает „вымыслы” Ольги Карлайл, содержащиеся в ее книге *Солженицын и тайный круг* (по-английски), где рассказывается о помощи, которую автор книги оказывала писателю, и о его „неблагодарности”.

Декабрь. Выход в свет двух первых томов Собрания сочинений по-русски. Издание подготавливается в Кавендише Солженицыным и его женой и выпускается в Париже православным издательством ИМКА-Пресс. Первые два тома содержат „полный и окончательный”

вариант романа *В круге первом* (в 96 главах вместо прежних 87) – „Круг 96”, как он назван в *Теленке*.

1979 Февраль. Появление нового „дополнения” к *Теленку* (*Сквозь чад*). Солженицын отвечает на вновь изготовленную в Москве клевету против него и его семьи.

Интервью с Дж. Сапием (БиБиСи) по случаю пятой годовщины высылки из СССР. Солженицын уточняет свою новую концепцию Февральской революции: он видит в ней катастрофу, главные виновники которой – русские либералы. Предупреждение Западу, который готовит себе свой „февраль 1917”. Солженицын утверждает, что подлинное моральное освобождение личности происходит в России – через отказ от лжи. Он не считает себя эмигрантом; по его мнению, „узел всей человеческой истории” сегодня – в России.

28 апреля. Освобождение А. Гинзбурга и еще четырех диссидентов, обмененных на двух советских шпионов. Солженицын принимает Гинзбурга у себя в Вермонте.

Июль. Тома 3 и 4 Собрания Сочинений по-русски; первые выпуски „Библиотеки русской памяти”.

Сентябрь-ноябрь. Многие участники диссидентского движения в эмиграции обвиняют Солженицына в фанатизме по образцу Хомейни. Солженицын отвечает, разоблачая эти „персидские трюки”.

1980 27 марта. Заявление по поводу ареста священников Глеба Якунина и Дмитрия Дудко („Брежнев не выдерживает глаз священника”).

Наступление Солженицына против „слабости” Запада вызывает очень обильные возражения, на которые весной 1980 он отвечает решительными контратаками.

Полемика с Борисом Сувариним, который отметил множество ошибок в книге *Ленин в Цюрихе*.

Полемика с несколькими американскими историками, в частности с Ричардом Пайпсом, в журнале *Форин эфферз*. Ответ Солженицына напечатан в апрельском номере.

Ольга Карлайл возбуждает против Солженицына дело о диффамации. В августе 1981 суд отказывает ей в иске.

Собрание Сочинений продолжает выходить. Тексты по-прежнему набираются в Кавендише Натальей Солженицыной и публикуются в Париже издательством ИМКА-Пресс. В том 8 включены пьесы, созданные устно, на память в Экибастузском лагере, в частности – *Пир победителей*.

1981 Полемика против Солженицына в среде эмигрантов обостря-

ётся. Ал. Янов спрашивает в *Новом Американце*, почему люди, которые умоляли соотечественников „жить не по лжи“, так бесцеремонно лгут, когда они в изгнании.

1982 В январе Солженицын публикует заявление о „главном уроке“ польских событий.

Солженицын завершает работу над новым вариантом *Августа Четырнадцатого* и над *Октябрем Шестнадцатого*. Наступает один из „передыхов“ между узлами. Поездка в Японию и на Тайвань. Солженицын предостерегает японцев против искушения достигнуть согласия с правительствами Пекина и Москвы. „Я особенно хочу вас предостеречь от роковой ошибки: считать советское и пекинское правительство национальными, а советскую агрессию понимать как „русскую“. Научитесь понимать русский народ как вашего союзника“. Он призывает японцев хранить верность своему принципу самоограничения.

1983 10-го мая Солженицын получает в Англии Темплтоновскую премию „За вклад в развитие религиозного сознания“. В Лондонском Гилдхолле он говорит об атеизме как о „петле на человечестве“.

Продолжение работы над *Красным колесом*, которое автор определяет как „повествование в отмеренных сроках“ и разделяет на Действия и „узлы“. Завершение первого Действия („Революция“) в трех узлах (и восьми книгах).

Начало публикации трех первых узлов в издательстве ИМКА-Пресс.

В *Вестнике Р. Хр. Д.* (№ 139, 1983) публикуется отрывок из второго тома „Очерков литературной жизни“, первым томом которых является книга *Бодался теленок с дубом*. Эта публикация показывает, что Солженицын продолжает вести свой литературный дневник. Отрывок – под заголовком „Наши плюралисты“ – направлен против идеологических врагов Солженицына в русской эмиграции и вызвал острый и сердитый ответ Синявского во французской печати. Солженицын изобличает „охлаждение русской истории“ и „ненависть к православию“.

Зэк Ш282 в день освобождения →

„Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось...“



## „... И ОТ КРИКА БЫВАЮТ ОБВАЛЫ”

„Я писал и рассылал это письмо — как добровольно поднимался на плаху. Я шел по их идеологию, но навстречу подмышкой нёс же и свою голову” (*Бодался теленок с дубом*, 182). Весь Солженицын, пожалуй, в этих словах. С ним литература пошла на мученичество, столкнулась со смертью и нашла свое второе крещение. Когда-нибудь станут говорить о веке Солженицына, как говорят о веке Вольтера. Конечно, ни сегодняшняя несправедливость, ни изгнание, ни „овладение словом” не имеют ничего общего с тем, что было два века назад. Но как некогда Вольтер, Солженицын отождествляет себя с неким „главным криком” в защиту справедливости. Чудовище, ведущее свою родословную от Платона, — идеология регламентированного счастья, — врезало в наши ландшафты и наши души тот рабовладельческий „архипелаг”, который Солженицын сумел изобличить. „Главный крик” Солженицына вернул его современникам, потерявшим память и речь, какой-то вкус к человеческой борьбе.

С 1962 года (первое выступление Солженицына) до 1974 (изгнание писателя из России „вооруженной рукой”) общественное мнение неотрывно следило за битвой этого человека с властью. Каждый чувствовал, что это не просто спор тиранической власти с „диссидентом”, но рождение бунта, важнейшего для нашей эпохи. Параллельно с этим солженицынским „вызовом” развивалось советское „диссидентство”. Солженицын был его частью, использовал его, широко с ним сотрудничал. Но он выходит за его пределы, потому что его „приговор” — не суждение „диссидента”, который делает вид, будто требует неукоснительного применения закона, самую же властью установленного, но глас свидетеля, выставленного Богом.

*Архипелаг ГУЛаг* наложил на нас свой отпечаток — необъятностью свидетельства, строгостью архитектоники, эпическим дыханием, богатством чувства, силой иронии, но, прежде всего, светом, который прорезал этот обесчеловечен-

ный подвал нашей планеты. И вовсе не потому, что показал нам советские концлагеря. Это делали и другие, раньше. Назовем только одну книгу из добрых сорока – волнуемое и достоверное *Путешествие в страну ЗеКа* Юлия Марголина, появившееся в 1952 году.<sup>1</sup> К тому же наш злоеший век знает лагеря не только в СССР, и иные из них были куда страшнее советских. Главным здесь был новый взгляд на человечество, новизна суждения. Солженицын раскрыл нам глаза, наглухо зашитые идеологией, нечувствительные к террору. Без солженицынского искусства не было бы ни взгляда, ни „главного крика”. Было бы одним документом больше, а документы против идеологии бессильны – это было, увы, доказано, и не раз...

Можно сравнить Солженицына с другим великим русским инакомыслящим, „диссидентом” – Львом Толстым. На словах бунт Толстого был страшен, универсален, почти что невероятен. *Кто сумасшедший?, Исповедь, Так что же нам делать?* свидетельствуют об этом. Но, помимо других различий, на первый план выступает вот что: Солженицын – это автор множественный, собирательный. Он говорит за всех. Он выходит из неразрушимого субстрата человеческого общества, он **уполномоченный слова**. Мертвые и живые, предатели и герои отдали ему свое слово, – потерянное ими самими. „Исповедь” Солженицына, хоть и пылает стыдом и жаром не меньшими, чем у Толстого, не индивидуальна. Конечно, он раскрывает и высказывает самого себя на всем протяжении своего творчества – он Иван Денисович, он Олег Костоглотов, Глеб Нержин, выживший рассказчик в *Архипелаге*, со своими признаниями, криками, надеждами, со своею верой. Но „я” Солженицына – кающееся, борющееся или проклинающее – взято в кольцо реальности, которая его перекрывает, захлестывает, дает смысл его существованию и его крику. Он „изнывает под грудами тем”. Реализм Солженицына – это реализм избыточности и глубокого погружения в смысл. Можно даже предположить, что подлинное величие Солженицына неотделимо от того, что пережито писателем реально, вживе. Сам он ставит перед собою две главные задачи: раскрыть уста ГУЛагу и объяснить русскую революцию. Вторая вплотную примыкает к истокам первой.

Сегодня первая задача выполнена, первая „глыба” поднята: пересмотренны, распрямленны, вновь обретшие изначальную едкость (смягченную самоцензурой) произведения, связанные с тюрьмой и лагерем, нашли свой полный и окончательный вариант в Собрании Сочинений. Остается вторая „глыба”, которая, на самом деле, тревожит ум и сердце писателя гораздо дольше первой: где, когда, как межа меж добром и злом, которая пролегает через каждую человеческую душу, пролегла через русский народ? Уже сейчас видно, что эта вторая „глыба” будет еще тяжелее первой. Это „повествование в отмеренных сроках”. По замыслу автора, оно разделяется на Действия. Первое Действие закончено; оно названо „Революция” и состоит из трех узлов – *Август Четырнадцатого, Октябрь Шестнадцатого, Март Семнадцатого*, – разбитых на восемь книг... Солженицын не знает, дарует ли ему Провидение: начать и завершить остальные Действия, которые он задумал. Этот исполинский исторический роман, озаглавленный *Красное колесо* (символ огненного колеса появляется в нескольких эпизодах Узла первого), по размаху будет равен *Человеческой комедии* Бальзака или *Людям доброй воли* Жюль Ромэна. Но по структуре это нечто совершенно новое: как и в предыдущих произведениях Солженицына, все действие собрано в несколько дней или даже часов, в рамках которых реальность растягивается, проясняется и проводит эту таинственную линию раздела меж добром и злом. Ход замедленной, иногда невыносимо замедленной (внутренний монолог Николая Второго растягивается на сотню страниц) съемки странно и мощно сливается с различными механизмами часов Истории, в свою очередь причудливо переплетающимися (убийство Столыпина, занимающее почти весь новый второй том *Августа Четырнадцатого*, подано трижды – через самого Столыпина, через его убийцу Богрова и через уполномоченного Охранного отделения, и событие приобретает сюрреалистическую выразительность, будто под электронным микроскопом).

Способен ли историк ужиться с солженицынским реализмом, или, скорее, с этой галлюцинацией реальности? Главное открытие Солженицына в этой связи как раз в том и состоит, что подлинную историю XX века невозможно писать, опи-



раясь на документ: документ либо лжет, либо его нет вовсе. Фальсификация, зачеркивание и выскабливание реальности никогда не знали таких масштабов, как ныне. Отсюда эта солженицынская спешка, лихорадочный бег жизни, которая сделалась творческой лишь на полпути, когда стукнуло уже сорок. Развлечения, досуг, культура, искусство ради искусства не существуют для Солженицына-человека, „оборванного” на целую половину жизни. В каком-то смысле он „одержимый”. И в этом пыле, в этом рвении есть элемент иконоборства и сектантства, которым и раньше страдала русская мысль. Случай Солженицына не сводится к старому уравнению „русской идеи”, скорее это своего рода отклонение от него. После Гарвардской речи тянет сказать, что русская петля захлестнулась и что, как в прошлом веке Герцен, другой великий русский изгнанник, Солженицын отрицает культуру, которая его приютила.

Подумаем, наконец, о человеке Солженицыне, об этом человеке, чье суровое лицо, заросшее русской бородой (Твардовский ее не одобрял), вдруг освещается улыбкой, лукавой и доброй, известной благодаря телевидению всему миру, кроме Советского Союза и подвластных ему стран. Мстительный и всегда настороженный эзк, который с помощью самодельных четок повторял наизусть тысячи стихотворных строк, сочиненных им в уме, сумел поставить на колени власть, которая обратила его в рабство. Но до 14 февраля 1974 года никто — и сам он меньше всех — не знал, чем кончится этот неравный поединок. Вдруг, неожиданно — вольная речь, толпы журналистов, телевизионные экраны, громадные аудитории и, быть может, самая многочисленная телеаудитория, какая была у кого бы то ни было из сегодняшних людей. Наконец — одиночество, большое имение в Кавендише, с домом, с музеем-библиотекой, прудом и хижинкой. Когда-то он мечтал: уехать на долгие годы, укрыться в затерянном углу, меж лесов, полей и неба — и писать роман, не торопясь... Часть мечты сбылась. Но спешка не исчезла. Она уже не оставит его никогда. „Бирнамский лес пошел”, и человеку должно спешить — такая пора. В 1969 году он написал Твардовскому после одной из последних бурь между ними, вызванных их глубинными,

основными расхождениями: „Всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъём с колен, постепенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот письмо Съезду, а теперь это письмо были такими моментами высокого наслаждения, освобождения души...”

БТ, 295

Однакож этот человек Солженицын, как все выходцы из концентрационного мира, должен был бороться против второй природы, которую этот замкнутый мир выделяет. Психологи знают, что этот стиснутый, зажатый космос создает глубокую привязанность к закрытости, тайный страх перед ее разрывом. Круг „заключенности” въедается в души уцелевших. За высокой радостью освобождения есть еще неосознанная радость остаться под замком. Нет сомнения, что Солженицын должен был бороться с самим собой. Возможно даже, что в повадках кавендишского отшельника сказываются последствия этой борьбы.

Но совершенно ясно, что писатель Солженицын освободил – если и не „исцелил” полностью – Солженицына-человека. *Круг первый*, поэма о заключении и о внутреннем возвышении, просветлении, была первым великим освободительным деянием. Автор ее пошел путем мудрецов античной древности: он Марк Аврелий ГУЛага, современной версии древнего рабства. И, составленный „писателем-подпольщиком” сперва собственного исцеления ради, этот учебник освобождения был обнародован ради нашего общего исцеления. Ибо Солженицын – и это чрезвычайно важно – верит в моральное действие слова. Отдельный крик способен вызвать общую лавину. „Бесконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную косную глыбу. Но нет другого пути, если вся материя – уже не твоя, не наша. А все ж и от крика бывают в горах обвалы”.

БТ, 168

На берегу реки Пинегы (лето 1969) →  
„Эти пространства дают нам надежду не погубить  
Россию в кризисе западной цивилизации”.



## СПОРЫ

„История – это сами мы, и не минуть нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно”.

Предисловие к сборнику *Из-под глыб*

С самой юности, по-видимому, Солженицын был одержим глубинным убеждением некоей „предопределенности”. В восемнадцать лет молодой Солженицын уверен, что он обновит нашу идею и наше понимание русской революции, обновит ленинизм, скажет новое слово. Все, кто хорошо его знал, говорят об этой внутренней уверенности, уже тогда заставлявшей его работать по пятнадцать часов в сутки, строго отмерять время на развлечения и на еду, воздерживаться от всего отвлекающего, уводящего в сторону. Солженицын – человек прямой линии. (Это совсем не значит, что он не знал в своей жизни зигзагов: марксист стал христианином и диссидент любителю теократией; он колебался меж литературой, математикой и театром; он начал свою личную жизнь сначала, перевалив за пятьдесят; он по преимуществу „тактик” литературной войны.) В 29 главе *Ракового корпуса* Солженицын вспоминает Китовраса, русский вариант мифологического кентавра: „Жил Китоврас в пустыне дальней, а ходить мог только по прямой. Царь Соломон вызвал Китовраса к себе и обманом взял его на цепь, и повели его камни тесать. Но шёл Китоврас только по своей прямой, и когда его по Иерусалиму вели, то перед ним дома ломали – очищая путь. И попался по дороге домик вдовы. Пустилась вдова плакать, умолять Китовраса не ломать ее домика убогого – и что ж, умолила. Стал Китоврас изгибаться, тискаться, тискаться – и ребро себе сломал. А дом – целый оставил. И промолвил только: „мягкое слово кость ломит, а жесткое гнев вздвизает”.

Солженицын восхищается Китоврасом, как восхищается он и князем Гвидоном: уметь идти по прямой, всегда по прямой, никогда не отступать перед злом, жестокостью,

IV, 389

злой. Но уметь уступать смиренным, „мягкому слову“... Есть что-то от Китовраса и в нем самом. Чтобы суметь взять верх над правительством своей страны, над враждой и коварством литературных приставов, чтобы из восьмилетней каторги вынести непреложное решение „заставить мертвых заговорить“, — для этого нужно было упорство Китовраса.

Конечно, жить рядом с Китоврасом нелегко. В свидетельствах бывшей жены, бывших товарищей по работе, „доверенных лиц“ в Соединенных Штатах наружу прорывается бунт против „авторитарности“, „деспотизма“ Китовраса. Впрочем достаточно, пожалуй, прочитать *Бодался теленок с дубом* или же укоризненное письмо патриарху Пимену. К Пимену Солженицын обращается на Пасху 1973 года с суровым посланием: „Ни перед людьми, ни тем более на молитве не слукавим, что внешние пути сильнее нашего духа. Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло и расцвело. И указало путь: ж е р т в у. Лишенный всяких материальных сил — в жертве всегда одерживает победу. И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда бросали львам, сегодня же можно потерять только благополучие“.

IX, 123

Эти упреки патриарху, на плечах которого лежит задача сохранить христианство организационно в атеистической стране, — и человеку, который провел десять лет в ГУЛаге, — поразили многих православных. Священник Желудков, известный своим духом сопротивления, публично возразил писателю, что он неправ, бросая вызов пастырю, который, по определению, обречен на молчание. В нашем обществе, полностью подчиненном одному-единственному Центру, писал о. Желудков, Церковь не может быть уединенным „островом свободы“.

Недоразумения того же типа повторятся после появления *Теленка*. Друзья и дочь Твардовского будут возмущены портретом поэта и главного редактора *Нового мира*. Неблагодарность, ослепление, самодовольство, эгоцентризм — вот как они воспринимают и оценивают солженицынскую „прямую“.

Одним словом, всякий раз, как Солженицын применяет



←Рядовой солдат (зима 1942 года) .

„Так должен был я навсегда усвоить горечь солдатской службы, как шкура на мне мёрзла и обдиралась? Нет! Прикололи в утешение две звёздочки на погон, потом третью, четвертую – все забыл!..”

принцип Китовраса, он тяжело оскорбляет людей чувствительных и честных, но втянутых в компромисс с действительностью. Призыв к объединению трех разъединенных ветвей русского православия в 1975, Гарвардская речь весной 1978 — всегда и неизменно то же действие и та же реакция.

Вся хитрость в том, что Солженицын — в известном смысле — всегда прав. Не будь он прав, и обиды не было бы. Непреклонность Китовраса — это его оружие, но оно ранит многих. Тем более, что сюда добавляется еще и педантизм школьного учителя, какая-то снисходительность педагога.

Иные из близких к нему людей упрямятся или прямо бунтуют. Его первая жена написала книгу, которая так вся и горит обидой. Выпущенная советским агентством печати „Новости”, эта книга воспоминаний находилась под опекой исключительно влиятельного литературного агентства, распространявшего ее только за пределами СССР; агентом была сама советская власть... И все же чтение ее убеждает, что это не фальшивка: невзгоды и мелочность брошенной жены были умело использованы для пропагандистского маневра. Другой взбунтовавшийся — Владимир Лакшин, „правая рука” Твардовского в *Новом мире*, известный и уважаемый критик (по Солженицыну — „гений осмотрительности”). Читая *Теленка*, Лакшин задыхается от негодования. Солженицын для него — мародер, обирающий покойников. „Я знаю, как жалко людям расставаться с кумиром Солженицыным. Он долго был воплощением нашего мужества, нашей совести, нашей бесстрашной памяти о прошлом. Но что делать, если и эта подпорка падает? Надо научиться жить без нее”. Злоба, мелочность, спесь, нетерпимость напоминают Лакшину о словах Чехова, сказанных по поводу Толстого: „Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы, потому что уверены в безнаказанности”. Наконец, несколько теряя чувство меры, Лакшин усматривает в Солженицыне „безразличье к средствам” — результат сталинского воспитания, полученного в лагерях. „Воспитавшись в правой ненависти к сталинизму, Солженицын незаметно в свой мозг и душу впитал его яды — и не оттого ли в его книге так много нетерпимости, злобы, изворотливости, неблагодарности?”



Третья обиженная книга принадлежит Ольге Карлайл, американской журналистке русского происхождения, внучке Леонида Андреева. Она рассказывает (*Солженицын и тайный круг*, вышла в Америке по-английски в 1978) о своей роли в тайной сети, помогавшей Солженицыну публиковать — оставаясь в России — *В круге первом* и *Архипелаг ГУЛлаг*, и о „неблагодарности” писателя, который в *Теленке* отозвался о ней презрительно и враждебно (в русском издании он не назвал ее по имени, но в американском, более позднем, — назвал). Она тоже рисует портрет „деспота”, жертвующего своими приближенными, как только что-либо в их поведении кажется ему предосудительным. В одном из прибавлений к *Теленку* Солженицын пишет, что Ольга Карлайл всегда играла роковую роль в истории его книг.

Ни один из трех названных выше авторов не согласен полностью с двумя другими, но во всех трех текстах ошибочно виден один „общий знаменатель” — общая жалоба на „тиранию” человека, одержимого своей идеей и безразличного к ее живым исполнителям.

Это не все — множество других споров разгоралось вокруг Солженицына. Упомянем книгу Ильи Зильберберга *Необходимый разговор с Солженицыным* (1976), полемику между Солженицыным и его двумя биографами, Бургом и Фейфером, или еще — но на много этажей ниже! — книгу лондонского издателя Флегона, единственный интерес которой — чисто и узко патологический.

Зильберберг, друг инженера на пенсии В. Л. Теуша, рассказывает, главным образом, об обыске, который был устроен у него в 1965 году. Теуш отдал ему на лето архивы Солженицына и свой собственный (антропософские сочинения, в том числе — этюды об *Одном дне Ивана Денисовича*). Отсутствие какой бы то ни было реакции со стороны Солженицына после обыска, его ледяное безразличье к Теушу поражают автора: „Я считал такое ваше поведение позорным предательством — и в личном и в „общественном” смысле, — пишет он, обращаясь к Солженицыну. — Такой реакции с вашей стороны невозможно было предположить. Она была непонятной и непозволительной...”

Впрочем Солженицын опережает своих хулителей. Как



Наталья Решетовская с мужем на фронте (май 1944 г.)  
Он учит ее стрелять из револьвера, она переписывает его первые рассказы.



Солженицын с первой женой, летом 1962 г. на Байкале

„Там же растут и конопля богорасленные, а во дворах травы красная и цветны и благовоныи гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают (...) А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени жирни гораздо, — нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово света наделано для чело- веков чтоб, упокоясь, хвалу Богу воздавал“ (*Житие Протопопа Аваакума*)

сказочный богатырь, теряющий мало-помалу своих спутников, он знает, что ему не избежать потери приверженцев: „Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить все точнее и идти все глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять современников, в надежде на потомков. Но больно, что терять приходится даже среди близких”.

БТ, 352

„Явление” Солженицына отмечено изменами, коварными ударами не только со стороны его естественных врагов. История того, как „принимала” Солженицына каждая из западных стран, и в особенности, Франция, могла бы составить целую летопись. У французской широкой публики *Архипелаг ГУЛаг* стал бесспорным бестселлером, но появление его сопровождалось многочисленными стычками и схватками, начиная с литературной передачи по телевидению, где автора обозвали „литературным власовцем” (термин, введенный *Литературной газетой*), и кончая памфлетом Алэна Боске *Я не согласен, Солженицын!* Франция сильнее противится солженицынской „вести”, потому что она более „идеологизирована” по сравнению с англо-саксонским миром и потому что миф русской революции — отпрыск ее собственного революционного мифа. Макс-Поль Фуше писал о „деле Солженицына”: „Оно исполняет роль военного тарана против СССР, во-первых, против социализма, во-вторых, и против союза левых сил, в-третьих”. Жан Даниэль в книге воспоминаний *Век разрывов* рассказывает о мучительной изоляции, в которой он оказался, защищая Солженицына в ту пору. „На тебя навалятся со всех сторон”, — предупреждал его друг, социолог Эдгар Морэн. Напротив, молодые философы, порождение мятежного мая 1968 года, встали рядом с Даниэлем. Андре Глюксман заявил: „Если книга Солженицына так раздражает левых, значит, какой-то центральный комитет еще орудует у нас в головах”. А потом — достопамятная телепередача, установившая доверительную связь между великим изгнанником и французской публикой, когда улыбка и хитрость зэка, его тактическое чутье в ответах, жар убеждений Солженицына одержали решительную победу. „За какой-нибудь час, или чуть больше, Александр Солженицын коснулся сердца всего француз-

ского общественного мнения и головы французских левых”, — писал Жан Даниэль. Философ Морис Клавель пошел еще дальше: „Уже давно не видали мы здесь, у себя, существа такого масштаба, такого ранимого и человеческого, чьи страдания — неразделимым образом — и обвиняют, и даруют прощение всем беднякам планеты — лишь бы они веровали, даже сбившись с пути в недрах систем, которые их унижают и губят”. Ученый Жак Моно более сдержан, чем Клавель: „Я думаю, что трудно следовать за ним в его нынешнем манихействе. Но понять его можно, даже и не чувствуя себя обязанным идти по его стопам. Его убеждение, будто ленинизм, где бы он ни угнездился, ведет всегда к одному и тому же явлению, ошибочно даже с точки зрения биологической вероятности. И все же есть что-то очень внушительное в том, что он говорит”.

Чтобы оценить солженицынский „вклад”, самым действенным и самым скромным приемом будет, по-видимому, измерить перемены, которые он сумел привести с собой. Нам потребовался Солженицын, чтобы понятия добра и зла вновь вошли в наше „восприятие” истории, чтобы коммунистические партии Западной Европы „европеизировались” (какой бы незначительной ни была их „европеизация”), чтобы поколение мая 68-го задумалось, вместе с Бернар-Анри Леви, Андре Глюксманом и другими, о „варварстве с человеческим лицом”, иными словами — о тоталитаризме в формулировке Ханны Арендт, формулировке, существовавшей уже долгие годы. Как ни странно, но самую примечательную, пожалуй, дань уважения и признательности принес Филипп Соллерс, очень далекий от Солженицына прозаик и бывший маоист: „Я принадлежу к тем, кого чтение Солженицына преобразило, медленно, но глубоко; и я считаю своим долгом это сказать”. От Пьера Дэкса до Клавеля, от Леви до Соллерса... „Данте нашего времени” изменил наше видение мира, вернул ему восприимчивость к аду и чуткость ко спасению.

В Испании, где франкизм доживал свои последние дни, Солженицын вызвал скандал: то, что он видит в этой стране, заявил он, — книжные магазины, забитые Марксом и левыми изданиями, — внушает мысль, что о тоталитарном режиме

здесь нечего и говорить. Испанские левые газеты подняли возмущенный крик, обвиняя бородатого лжепророка в сговоре с „бункером” каудильо.

После Гарварда была настоящая буря негодования (хотя и учтивого) против этого человека с другой планеты, который явился упрекать западный мир в потере „воли” и даже „мужественности”. Странно неловкий, чуть сгорбленный, постаревший и словно бы отчужденный, рассеянный в окружении старомодного гарвардского убранства, Солженицын вновь нашел в себе силу пророка, чтобы торжественно осудить и обличить моральный упадок Запада. Польско-американский писатель Косиньский, спасшийся от гитлеровских газовых камер и ставший гражданином Соединенных Штатов, отвечает ему возражением, что ограничения, налагаемые демократией на высоких особ (пример — злключения Никсона), — это цена общественной свободы. „Он не понял, что демократия нередко представляет собою промежуточное состояние между тиранией, низвергнутой ею, и тиранией, грозящей возродиться”. Композитор-эмигрант Андрей Волконский горячо упрекает Солженицына в традиционном для русской мысли заблуждении — в незнании реальности (Матрены принадлежат прошлому).

Гарвардская речь могла бы быть написана и в России; американская действительность тут ни при чем, она выступает лишь на самой поверхности, да и то — в форме стереотипов: разгул порнографии, ослабление воли нации, потеря святънь... У Солженицына нет ни времени, ни, еще того менее, потребности всматриваться в какую бы то ни было реальность, кроме русской. Он — слепая Кассандра, неприкосновенный кусок русской судьбы за пределами России. Он не судит, не размышляет, не пророчествует иначе, как исходя из русского „становления будущего”.

Непонимания и недоразумения, которыми сопровождается карьера Солженицына, восходят отчасти к его тактическому гению: он открывает свои позиции лишь мало-помалу. Долгое время его представляли нам как „социалиста с человеческим лицом”, как критика социализма, но — изнутри. Естественно, что те, кто напечатал *Один день Ивана Денисовича*, пожелали прикрыть рассказ комментарием

такого типа. От этой тенденции не свободна и краткая вступительная заметка Твардовского „Эта суровая повесть — еще один пример того, что нет таких участков или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны правдивому описанию. Все дело в том, какими возможностями располагает сам художник”. Дальнейшие споры показали со всею ясностью, как трудно советскому обществу „переварить” это краткое повествование, отменяющее столь важное табу. Конечно, появление рассказа, которому покровительствовал сам Хрущев, вызвало единодушные похвалы советской печати, но скоро наружу пробился упрек, ставший впоследствии каноническим: произведение не вмещается в более общую концепцию советской жизни.

1963 год завершился ожесточенной полемикой между *Литературной газетой* и *Новым миром*. Критик Овчаренко, опытный защитник социалистического реализма от модернизмов всех мастей, в конечном счете прекрасно обобщает недоумения тех, кто не мог понять, как это Хрущев разрешил напечатать Солженицына: „Диспропорция между частным и общим, недостаточная диалектичность в познании и воспроизведении действительности, явное предпочтение „вечному”, „неизменному” в ущерб новому, зарождающемуся, подмена или „расширение” принципов социалистического гуманизма, ведущие к ложной идее абсолютной доброты, абсолютного сострадания, абсолютной справедливости, — все это, в лучшем случае, заставило писателя приписать слишком важное, общее значение явлениям случайным и частным”. Атака идет с двух сторон одновременно: Солженицын делает из одного дня символ целой жизни, иными словами — непозволительно обобщает, а с другой стороны, его герой слишком пассивен. „Строитель коммунизма” должен быть сильным, решительным, мужественным; смиренные и кроткие существа, вышедшие из-под пера какого-то Солженицына, не имеют с ним ничего общего. „С каких пор начали мы причислять дух жертвенности к нашим национальным чертам?” (Юрий Барабаш). Другие критики, возможно, менее искренние, осуждали архаичность мысли и языка, „лесковскую” фразеологию.

Не станем задерживаться на этой советской полемике. С наложением запрета на Солженицына она прекратилась, хотя было еще несколько арьергардных залпов: Лакшин пытался защищать того, кто по-прежнему был любимым автором *Нового мира*, кого журнал – безуспешно – выставлял на Ленинскую премию (в 1964 году). Сама собой открытая полемика переместилась за рубеж. В Советском же Союзе „дело” Солженицына, начатое в 1967 году, завершится его исключением из Союза писателей, но это произойдет при закрытых дверях. В СССР Солженицын превратится в „pop-person”. Все его сочинения исчезнут из библиотек и библиографий.

Самая умелая попытка „вернуть” Солженицына принадлежала венгерскому философу-марксисту Дёрдю Лукачу. Он изображал Солженицына как „плебейского” (некоммунистического) критика социалистической действительности. Солженицын для него – „разоблачитель противоречий сталинского социализма”, провозвестник будущих споров. Он лишь предтеча, „неловкий” и „неуклюжий”; так Лев Толстой, по Ленину, был лишь „зеркалом”, а не действующим лицом русской революции.

Во Франции выходу *Ивана Денисовича* покровительствовали Эльза Триоле и Пьер Дэкс, главный редактор коммунистического еженедельника *Леттр франсез*. Партия стояла над крестной купелью Солженицына и отклонила перевод Жана Катала, который был когда-то корреспондентом *Юманите*, но затем впал в немилость. Десять лет спустя Пьер Дэкс должен был признаться: „Что меня поражает, так это наш общий тон во всех интервью, какое-то ликование, что искусство социализма вновь становится искусством, а значит, в конце концов, и социализм заслуживает своего имени”.

„Ликованию” предстояло, разумеется, поутихнуть – по мере советских репрессий против виновного, сперва „ползучих”, а потом и яростных, открытых. Одни во Франции отрекутся от Солженицына, другие задвинут его в дальний угол пассажистской литературы. Но Пьер Дэкс пойдет следом за ним – вплоть до умышленного потопления *Леттр франсез* и до нынешней своей отважной позиции. Для него, как и для



многих других, Солженицын пропел отходную „реальному социализму”.

Наряду с Дэксом и ему подобными, которых Солженицын просветил, избавивши от догматизма, были и „реалисты”, сторонники „разрядки”: они осудят „корпус удивленных и растерянных” (острота принадлежит Жоржу Горсу, министру генерала Де Голля). Для них Солженицын – досадное препятствие на пути разрядки, „комариный укус” и, в конечном счете, доказательство известного либерализма (Солженицын, изгнанный из СССР, как некогда Аристид из Афин, – это еще не так страшно...). Генри Киссинджер отсоветует президенту Форду принять того, кому американский Сенат предлагал почетное гражданство Соединенных Штатов...

Солженицын стоит в центре широко известной полемики об экономической и социальной „конвергенции”, сближении систем капитализма и социализма. Крестный отец этой теории – американский адвокат Сэмюэл Писарж; в какой-то период ее поддерживал Сахаров. Отклик полемики мы находим в первой статье сборника *Из-под глыб*. В ней Солженицын отвергает „конвергенцию”, грозящую уничтожить национальный русский дух, признаки возрождения которого уже заметны. „Сахаров упускает возможность существования в нашей стране живых национальных сил”. Прогресс, интеллектуальная свобода и даже демократия для Солженицына – не более, чем „идолы рынка”. Он цитирует философа Сергея Булгакова, соавтора Бердяева и других по сборнику *Вехи* (1909): „Западничество есть духовная капитуляция перед культурно сильнейшим”. Сахаров отвечал обвинением Солженицына в „изоляциялизме”. По мнению ученого, наследника века Просвещения, отца „русского атома”, наука не знает границ и несет исцеление нашим бедам; Солженицын, также человек точных знаний, возражает, ссылаясь на исследования и выводы Римского клуба о скором исчерпании источников энергии, и призывает русский народ к „самоограничению”. Уже в 1948 году, на шарашке, подобные же споры шли между ним и его другом, марксистом Львом Копелевым.

В одном из ходов того же спора было затронуто право

на эмиграцию. Сахаров отстаивал это право во имя всеобъемлющей концепции человека; Солженицын готов уважать лишь бойцов, которые не уходят со своих позиций (и, тем самым, осуждает Снявского, Некрасова, Максимова, Галича, выбравших эмиграцию). Юлий Даниэль — он остался в России, меж тем как его одноделец по процессу 1966 года Андрей Снявский эмигрировал в Париж — ответил, что это значит обесценивать богатое и разнообразное творчество первой русской эмиграции, которая, через Цветаеву, Бунина, Шагала, внесла незаменимый вклад в русское искусство XX века. По своему откликнулся Снявский, напомнив в статье „Литературный процесс в России” о „другом лике” России — лике мачехи, тупой и жестокой, доведшей до безумия столько своих сыновей. „Но все бегут и бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором, — дитя!..” (*Континент*, 1974, №1, с.183).

Такова ирония событий: „западник” Сахаров остался в России — последний символ „диссидентства”, нынче рассеянного по четырем сторонам света; „лочвенник” Солженицын присоединился, вопреки своей воле, к беглецам и нашел приют сперва в Цюрихе, а потом в Соединенных Штатах. И словно для того, чтобы признать, парадоксальным образом, его правоту, Андре Мальро заявил: „Солженицын, вся сила которого была в том, что он говорил свое, находясь в лапах государственной полиции и точно зная, где он находится, становится теперь эмигрантом. Этот эмигрант говорит вещи, сами по себе важные, но, на мой взгляд, мера тут уже совсем иная. Выдающихся эмигрантов было немало, и не только из России. Позиция очень благородная, но далеко не всегда очень важная”.

Каждый шаг Солженицына вызывал споры. Вот он принимает участие (отдаленно, неохотно) в основании журнала *Континент* в 1974 году („Не лучшая форма и не лучшая территория для появления свободного русского журнала, куда б на сердце было светлей, если бы и все авторы и само издательство располагались на коренной русской территории”) — и навлекает на себя громы и молнии Гюнтера Грасса, который в октябре 1974 года обвиняет его в том, что он

сделался союзником реакционной печатной империи, концерна Шпрингера. Вот он создает Общественный русский фонд помощи заключенным и их семьям – фонд, которому он уступает все доходы от продажи *Архипелага ГУЛаг*, как Толстой когда-то отдал духоборам доходы от *Воскресения*, – и схватывается с налоговым управлением цюрихского кантона, которое не согласно признать эту уступку соответствующей букве закона, а между тем в Москве Александр Гинзбург, автор Белой книги о процессе Синявского-Даниэля, расплачивается третьим арестом за раздачу субсидий из солженицынского фонда.

Солженицын не боится разжигать споры. Например, он снова дает ход старым (1928-го года) слухам о шолоховском подлоге: *Тихий Дон* принадлежит-де не Шолохову, а донскому писателю Крюкову, умершему во время Гражданской войны. В 1974 году Солженицын снабжает предисловием исследование некоего D\* *Стремя „Тихого Дона“*. Это сочинение, в некотором роде литературный детектив, стремится показать через анализ самого текста, что в нем наличествуют две „руки“ – опытного мастера и неуклюжего дебютанта. Солженицын лишает Шолохова его шедевра, а советскую власть – ее общепризнанного гения. Он делает это из любви к *Тихому Дону*, к той южной, казацкой России, удалой, без комплексов и без изъянов, из которой вышел и сам и которую сам хочет воспеть в *Августе Четырнадцатого*...<sup>1</sup>

Еще споры – когда Солженицын обличает выдачу Иденом (по требованию Сталина) всех советских пленных после войны. В недавно вышедшей книге<sup>2</sup> граф Николай Толстой показал с документами в руках: британские власти знали, что имеют дело с „репатриантами“ поневоле, которые никаких военных преступлений не совершили и которых на родине ожидала судьба далеко не завидная. Выступление Солженицына по английскому телевидению вызвало отклик более, чем громкий. В Англии открылась подписка на сооружение памятника этим жертвам „интересов Государства“.

Его вторая жена – еврейка, но и за всем тем он не избежал обвинений в антисемитизме. В статье 1974 года Жан Катали отметил, что еврейские писатели, убитые Сталиным, обойдены в *Архипелаге* молчанием, зато еврейские имена первых



В студии Французского Телевидения 11-го апреля 1975 года

Слева направо: сидят Никита Струве, Александр Солженицын, Бернар Пиво, стоит Клод Дюран „Господа, конечно, я писатель русский. Моя судьба связана с моей страной, и если бы это был прежний век, то вообще мы бы с вами тут не сидели, и телевидения не было бы, и каждый из нас занимался бы своим, хотя может-быть ваши французские споры так же бы горели”.

чекистов, основателей ГУЛага, выставлены на видное место. Упрек этот не вполне справедлив, однако новую пищу полемике дала публикация *Ленина в Цюрихе*, где Парвус представлен как некое дьявольское и космополитское начало в русской революции. Симон Маркиш в статье о еврейских образах у Солженицына очень осторожно исследует не осознанное самим Солженицыным наследие — стереотип еврей-мстителя, образ, восходящий к четырнадцатому веку.<sup>3</sup> Еврей Цезарь Маркович из *Одного дня...* — разве не вывел его автор чем-то вроде „тыловой крысы” в лагерной войне за существование? Разве не сказал он о чекисте Френкеле в *Архипелаге ГУЛага*: „Мне представляется, что он ненавидел эту страну”? К кому это относится — к чекисту или к еврею? Многие заметили, что в списке народов, пострадавших от русских, евреи не значатся. Правда Солженицын несколько раз выражал свое восхищение Израилем, но, помимо того, что эти комплименты можно толковать как адресованное к русским евреям приглашение покинуть Россию, где им делать нечего, он уснащал свои похвалы достаточно удивительными рассуждениями о теократических достоинствах Государства Израиль.

Наконец, самый серьезный и важный из споров — полемика о „русскости” или „нерусскости” революции 1917 года. В противоположность Бердяеву и Франку, которые видели в 1917-м годе вершину и свершение русского максимализма, Солженицын формулирует резко и однозначно: это чужаки, пришельцы устроили у нас революцию, и главной ее жертвой стал русский народ. Массовое истребление русского народа — вот его основной довод. Историк сталинизма Рой Медведев выступил с поправками к *Архипелагу*. Но, помимо частных поправок, Медведев обвинил Солженицына в непростительной ненависти и презрению к большевистским жертвам лагерей. Медведев отмечает не только сарказмы, весьма далекие от милосердия, но и противоречия, или, скорее, одно капитальное противоречие: как можно осуждать „ложь всех революций”, уничтожающих носителей добра и зла без всякого разбора, и, одновременно, воспевать „сорок дней Кенгира”, благословлять нож, кое-как смастеренный из консервных банок? Редко когда Солженицын раскаи-

вается или испытывает потребность в оправданиях, но предисловие к американскому изданию *Архипелага* — одно из таких редких исключений. Солженицын предупреждает против неверного истолкования восстания в Кенгире, обеляющего насилие. Кенгир, заявляет он, не имеет ничего общего со „слепым” терроризмом. Медведев нащупал, вероятно, самое органическое для „солженицынского механизма” противоречие: этот апостол своеобразного непротivления злу насилием, ограничения экономического развития, национального аскетизма, — в котором он усматривает русский путь по преимуству, — в то же самое время и борец, наделенный поразительной воинственностью. Гимн Кенгиру — один из самых прекрасных гимнов бунту, сложенных в нашем веке. Но как связать Кенгир с Матреной?

Этой слабостью солженицынского творчества воспользовался друг Солженицына по каторге Дмитрий Панин, выведенный в *Круге первом* под именем Сологодина, когда упрекнул бывшего друга в том, что он не зовет к крушению Советской России изо всех своих сил. Сологдин-Панин — это преувеличенный до последней крайности Солженицын, который многим обязан своему прежнему товарищу по шарашке. Некоторые перемены, которые, как мы увидим, претерпел образ Сологодина в *Круге*, находятся, возможно, в связи с этой ссорой.

Великие убеждения несут в себе долю ослепленности, есть теневая сторона в великих истинах. Каждый из оппонентов Солженицына вправе не признавать той или иной из сторон этого монолита. Писатель-пророк, борец в первую очередь, Солженицын и впредь, пока голос его не умолкнет, будет вызывать ожесточенные споры. Одни подозревают его в мании величия. Другие насмеваются над его иконою Матрены. Антисемит ли он? несправедлив ли к патриарху Пимену? не знает меры в осуждениях? схематичен в исторических толкованиях? совсем не по-христиански ненавидит уголовников в лагере? чересчур скор в обвинениях против Шолохова? неоснователен в своем приговоре Америке? Солженицын отважился дойти до предела человеческого отчаяния, до того рубежа существования, на котором, как говорит Шаламов, человек начинает ощущать, как самое дно Жизни навсегда поселяется в его собственной жизни. Творчество Солжени-

цына пылает на костре неизречимого человеческого страдания. Огненное колесо отчаянно вертится на его горизонте, юная святая горит на костре, и автор-свидетель шепчет самому себе: „Этому огню и тебе, девушка, я обещаю: прочтет о том весь свет” (*Архипелаг ГУЛag*). Торжественная важность этой клятвы передается и ему самому. Этот огонь, это красное колесо послужат объединяющим символом для всего его творчества, ибо огонь костров знаменует испытание и спасение. „Сестренка”, которая молит о прощении, станет Беатриче этого нового Данте. Огненное колесо – одновременно и колесо судьбы, и жернов, переламывающий судьбы, и ореол святого...

Мы не можем мерить Солженицына меркою привычных для наших интеллектуальных споров понятий: левый – правый, пассеист – прогрессист, националист – универсалист, предопределение – экзистенциализм. Или, пожалуй, да, можем, но только сперва нужно самим надеть на шею этот огненный жернов. Творчество Солженицына – испытание для каждого из нас, жизненное испытание. Нужно принять и пережить его, прежде чем взвешивать на каких бы то ни было весах. Чтение *Архипелага ГУЛag* – необходимое испытание. *Архипелаг* сжигает своего читателя и не отпускает его. Затем мы вступаем на экзистенциальный путь, который не зависит от того или иного мнения. Он втягивает нас в механизм тоталитаризма и тоталитарного производства человеческих отбросов. Конечно, до Солженицына были Давид Руссе, Ольга Вормсер, Эли Визель, Леон Поляков, писавшие о нацистских лагерях, Юлий Марголин, Варлам Шаламов, рассказавшие о ГУЛаге. Он не единственный историк этого производства. Другие до него тоже „мыслили о том, что отнимает способность мыслить”, – по слову Клода Лефора. „Последний кровавый акт самой прекрасной комедии” (как сказал Паскаль), смерть – ничто против отрицания смерти, чудовищного позора ээка, извергнутого из биологической общности сортировочною машиной для человеческих особей. Да, „принятие” Солженицына было делом нелегким – вопреки видимости всеобщей славы. Ибо мысль об этой смерти в смерти, об этом двойном отрицании человека – невыносима. Мы все пытаемся ее оттолкнуть.





← „Зэк”, статуя Л. Немова.

„Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживем! Переживем все, даст Бог, кончится!”

## КОНТИНЕНТЫ РЕАЛЬНОСТИ

1 января 1971 года в нью-йоркской газете *Новое Русское Слово* появилась статья историка-эмигранта Николая Ульянова „Загадка Солженицына”. Перечислив все области „действительной жизни”, в которых Солженицын обнаруживает удивительную осведомленность, Ульянов заключает: „Произведения Солженицына не написаны одним пером. Они носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского вкуса и склада, разных интеллектуальных уровней и разных специальностей”. Солженицын „сфабрикован” литературной мастерской КГБ „в целях выкачивания валюты”. Один человек столько реальности вместить не способен!

Верно, Солженицын принадлежит к породе „реалистов”, писателей, которые буквально одержимы действительностью, реальностью. Ему нужно видеть каждую мелочь в комнате, где дремлет угрюмый и дряхлый тиран из *Круга первого*, каждый предмет в салон-вагоне Великого Князя Николая Николаевича (*Август Четырнадцатого*), каждый горшок с цветами в жалкой избе колхозницы Матрены. Он разработал целую систему для картотеки, в которой расклассифицирован, приведен в строгий порядок материал его будущих сочинений — анекдотический, социологический и, в особенности, лингвистический. Если верить его первой жене, он разносил по карточкам даже собственную личную жизнь и личную жизнь своих друзей. Каждая встреча, каждое чувство, каждая крупица жизненного опыта каталогизируются и обобщаются, чтобы стать пищей для будущей работы. В 1964 году он возвращается в ташкентскую больницу — повидаться со своими врачами, освежить свою топографическую память, свои знания медицинской техники. После этого пишется *Раковый корпус*.

И сегодня, в вермонтском изгнании, для работы над историческим романом Солженицыну нужно увидеть внутренним взором места действия — и он роется не только в гигантских кладовых своей памяти, но и в своей картотеке, пополняемой чтением и путешествиями, распросами последних

живых свидетелей и розысками в американских архивах.

В одном из интервью 1979 года он заявляет: „Для работы же над моей темой Запад, да, не может мне дать питающих впечатлений. Вот если б я сейчас жил на родине! да мог бы передвигаться без преследования, без надзора (как почти никогда не бывало), — я, конечно, жил бы не так, как сейчас, я много бы ездил! Там — каждое место, каждый говор, каждая встреча — это толчок и помощь замыслу. (...) два месяца я пешком исхаживал весь город /Ленинград/, изучал все места. А Февральская революция, она почти вся происходит в Петрограде, — и теперь я с закрытыми глазами любой уголок города отлично вижу, это здорово помогает. Ну, и карта старая есть, и много снимков”.

X, 354

Впервые Солженицын побывал в Ленинграде в июле 1959. Решетовская рассказывает в своих воспоминаниях: он еще не видел города, но уже знал его так хорошо, что мог бы водить экскурсии по Ленинграду.

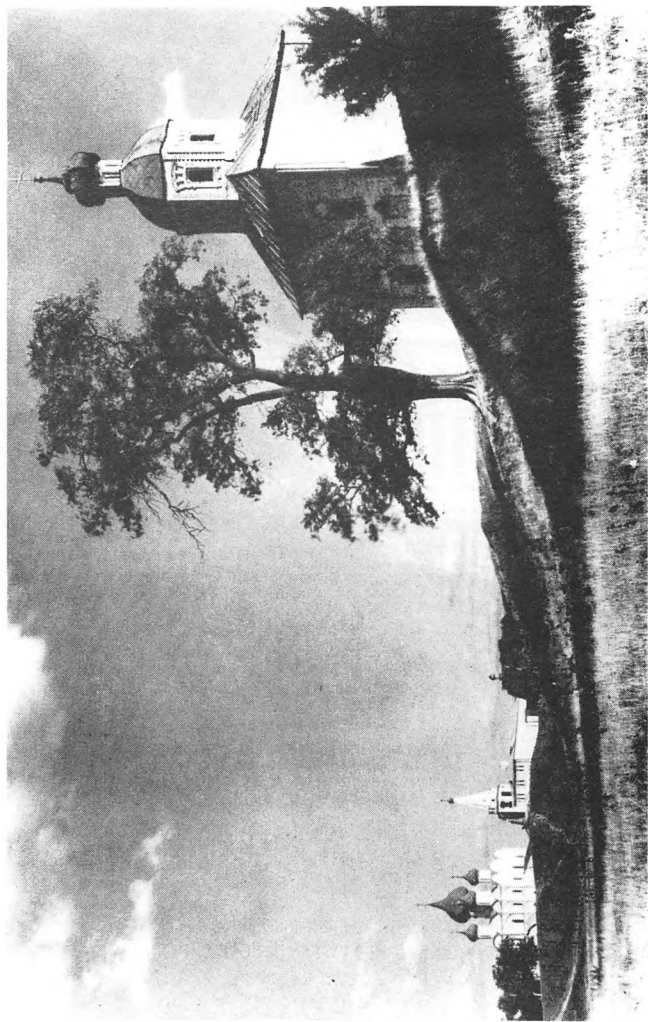
В России он никогда не выходил из дому без записной книжки в кармане. Он заносил в нее фразы, красочные выражения, подслушанные на улице, записывал свои встречи, разговоры, споры с властями. У него есть целые тетради, заполненные пословицами и поговорками. Уже на шарашке его настольной книгой был Даль. Он читал сборники русских пословиц, „как молитвенник”.

В его книгах можно узнать его друзей, родственников, первую жену, товарищей по армии и по лагерю. Он испытывает потребность черпать из действительности, вплоть до того, что ищет имена для персонажей в старых справочниках. Так, из „золотой книги” Рязанской гимназии за 1904 год он взял — рассказывает Решетовская — имена Варсонофьева и Ободовского (для *Августа Четырнадцатого*) и немецкое имя Гангарт (для *Ракового корпуса*). Портреты друзей настолько правдоподобны, что Дмитрий Панин воспользовался для своих мемуаров именем, которое ему дал Солженицын (*Записки Сологодина*). А Лев Копелев, Рубин из шарашки в *Круге первом* (на самом деле — известный германист и автор интересных воспоминаний<sup>1</sup>), получил чуть ли не официальное письмо, в котором автор *Круга первого* оправдывает его от обвинений читателей, неспособных различить



Адмиралтейская игла

„Чуждое нам — и наше самое славное великолепие! Но стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту”.



Суздаль

„Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он — в церквях.“

меж „прозой” и „действительностью”, — обвинений в со-трудничестве с ГБ... Жизнь развела „трех мушкетеров”, которые позируют на знаменитой фотографии „Двадцать лет спустя”, но они навеки неразлучны в „троице” *Круга пер-вого*: Нержин—Сологдин—Рубин.

Бальзак — другой писатель, одержимый действитель-ностью, — оживлял свою социальную вселенную тем, что прививал мужским персонажам великие, неукротимые страсти: отцовскую любовь, честолюбие... Солженицынская „реальность” — мужская почти на 100 процентов. Женские персонажи играют в ней символическую роль, важную, но „производную” от мужской судьбы, и немногие из солже-ницынских героинь убедительны полностью. Мужской мир Солженицына — это мир „испытания”: испытания тюрьмой, раком, войной. Все его ключевые персонажи поставлены в ситуацию отречения от самого себя и экзистенциального выбора. В *Архипелаге* Солженицын замечает, что „столыпин” (тюремный вагон образца 1910 года) освобождает человека от всех человеческих привычек, от всех связей, которые устанавливает меж людьми обыденная жизнь. Это освобожде-ние от повседневности — общий знаменатель всех ситуаций в солженицынском повествовании, и, разумеется, оно отра-жает личный опыт самого писателя. Не владейте ничем, не имейте ничего! — провозглашает автор *Архипелага*, и эск Бобынин не отступает перед сталинским министром Абаку-мовым, который выволакивает его из шарашки, чтобы спро-сить, скоро ли будет готова установка „клипированная речь”: „Человек, у которого вы отобрали в с ё — уже не подвластен вам, он снова свободен”.

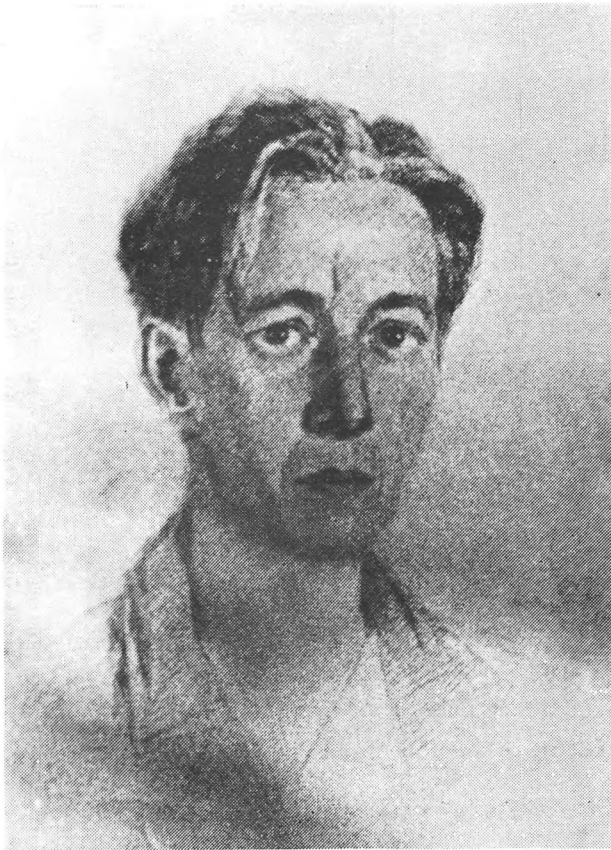
I, 113

В каком-то смысле Солженицын исходит из ситуации, о которой мечтал, но которой никогда не смог достигнуть Толстой, если не считать его последнего бегства и смерти, да и то надо признаться, что само бегство это скорее смехо-творно. Эта ситуация — отказ, отречение от самого себя. „Благословение тебе, тюрьма!” — возглашает Солженицын в Части четвертой *Архипелага*. „Тюрьма была ему так же не-обходима, как дождь иссохшей земле”, — чуть иронизирует Дмитрий Панин. Но глубинный аскетизм, непереносимое усло-вие существования всех его главных героев, не есть изначально-

но результат свободного волеизъявления; это — обездоленность человека в условиях тоталитарного режима. „Человеческая комедия” Солженицына — не мир, устрояемый чудовищной, титанической волей персонажей, как у Бальзака, и не поиск самоотречения, организующий толстовскую вселенную. Дело идет о том, чтобы сообщить смысл и ценность ситуации невольного аскетизма, в которую загнан человек — крепостной ГУЛага; происходит, в некотором роде, „второе рождение” человека в ситуации абсолютной обездоленности. Человек может возродиться или выродиться, он **на распутье** (символическая ситуация, которую мы встречаем в каждом из солженицынских произведений).

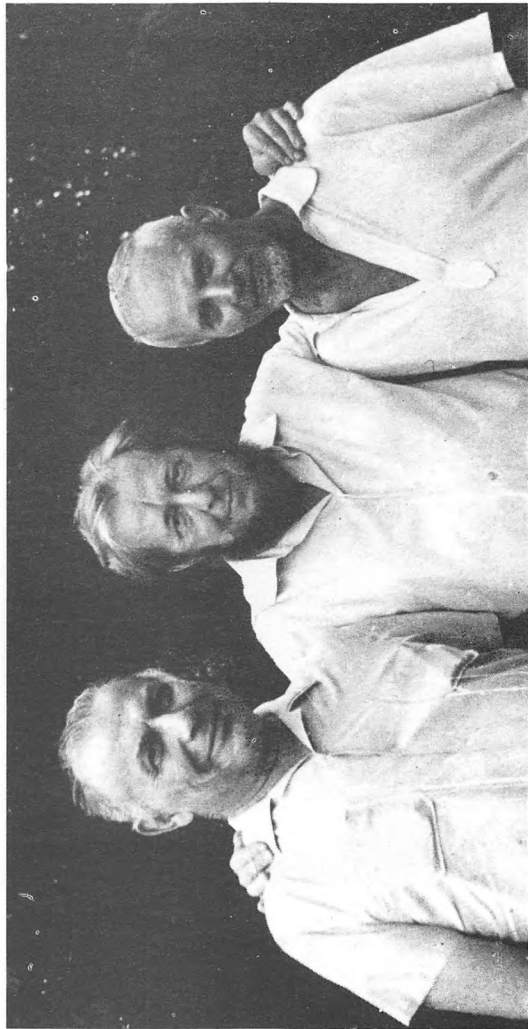
Подобно многим писателям, Солженицын, задним числом, открывает в своем творчестве некий Великий Замысел. С 1930 года, объясняет он, с двенадцатилетнего возраста, он носит в душе план работы всей своей жизни — большого историософского сочинения о русской революции в связи с судьбой его отца: офицер русской армии Исаакий Солженицын, сын богатого землевладельца из Области Войска Донского, умер в 1918 году от раны, полученной на охоте, оставив молодую жену беременной. Исаакий Солженицын сражался в Восточной Пруссии (там, где протекает действие *Августа Четырнадцатого*). Его сыну, капитану Александру Солженицыну, довелось, в свою очередь, сражаться теми же „прускими ночами” в 1944 году, и там же он будет арестован военной разведкой, оттуда отправлен в ГУЛаг. В сердцеvine солженицынского литературного начинания находится, таким образом, своеобразный семейный „анабасис” — восхождение во времени к неведомому отцу, трагически исчезнувшему в тот час, когда Россия попала в руки большевиков. Панин рассказывает: у Солженицына была ясная цель — объяснить катаклизм, который поразил нашу страну. Как все это произошло? Часть причин он видел в первых поражениях войны 1914-1918: этот период притягивал его неудержимо еще с университетских времен.

Сочиненные и затверженные наизусть на Марфинской шарашке и в Экибастузском лагере, регулярно освежавшиеся в памяти с помощью „четок”, *Пруссские ночи* уже с 1950 года устанавливают ту органическую связь, которая проходит



Эскиз карандашом, исполненный в шарашке Ивашевым-Мусатовым  
(в *Круге первом* он Кондрашев-Иванов)





„Три мушкетера. Двадцать лет спустя”  
Слева направо: Л. Когелев, А. Солженицын, Д. Панин (1968)

через все творчество Солженицына: от довоенного студента, роющегося в библиотеках, к офицеру 1944 года, который смотрит на горящий Хохенштайн и вспоминает Самсонова и собственного отца, к каторжнику 1948 года, сочиняющему *Прусские ночи*, и, наконец, к вермонтскому затворнику, вновь зарывшемуся в архивы, вновь старающемся „связать” разбитую цепь времен и русской судьбы... Глядя на Пруссию в огне, поэт восклицает:

Меж тобой и мной — Самсонов,  
Меж тобой и мной — кресты  
Русских косточек белеют.  
Чувства странные владеют  
В эту ночь моей душой:  
Ты давно мне не чужой.  
Нас сплело с тобой издавна  
Своевольно, своенравно.  
Шли в Берлин прямой чертой,  
Я с надеждой, с беспокойством  
Озирался — не свернуть бы.  
Я предчувствовал, Ostpreussen,  
Что скрестятся наши судьбы!

Не только Пруссия 1944 года приводит к Пруссии 1914-го, судьба сына — к судьбе исчезнувшего отца; но, как мы увидим, любая судьба внушает Солженицыну чувство чего-то „уже виденного”, чувство узнавания мест и трагедий: за „судом Божиим” над капитаном Солженицыным вырисовывается — филигранью — „суд Божий” над Россией.

Вот где Единый Замысел его жизни (так полагает он сам), и сочинения с автобиографической канвой, книги о каторге — всего лишь отступления, скобки в этом Великом Замысле. О лагере повествуют поэма *Прусские ночи* и две первых пьесы драматической трилогии *1945 год* (третья, написанная в ссылке, в Кок-Тереке, в 1955 году, называется *Республика труда*, но она более известна в „облегченной” для цензуры форме и под заглавием *Олень и шалашовка*; в этом варианте она чуть было не увидела сцены в московском театре „Современник” в 1962 году). Обе эти пьесы сочинены „на память” в Экибастузском лагере. Позже Солженицын припомнит их и запишет. Известно, что единственный экземпляр

*Пира победителей* был захвачен КГБ в 1965 году, выпущен специальным изданием, предназначенным только для членов ЦК КПСС, и много лет служил доказательством солженицынского антисоветизма. Автор горячо протестовал против похищения рукописи. Он решился напечатать пьесу лишь в 1981 году, в 8-м томе Собрания Сочинений.

Эта драматическая трилогия, созданная в лагере и в ссылке и посвященная аресту и лагерю, открывает нам самое зарождение главного солженицынского плана. Две первые пьесы написаны вольным хореем и ямбом, сразу же ассоциирующимися с вольным стихом грибоедовского *Горя от ума*. И здесь не только очевидный мнемонический прием, но и известная идентификация с грибоедовским мизантропом: в человеческой комедии, которая разыгрывается сегодня в сердце концентрационной системы, человек — один против всех и не должен ждать ничего от соседа по „сцене“, в особенности от женщины. Вдобавок Солженицын мечтал о театре еще со школьных лет. Корпя над математикой в Ростовском университете, студент Солженицын мечтал писать для театра и учился заочно в Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ). Уже первые свои вещи Солженицын стремится ввести в широкий, монументальный контекст. Это большая поэма „Дороженька“ и, затем, драматическая трилогия *1945 год*. Персонажи и темы предвещают как *В круге первом* (главное действующее лицо *Пира победителей* и *Республики труда* — Нержин), так и *Красное Колесо* (герой *Пленников* — Воротынцев). Пьеса *Пленники*, о самом существовании которой стало известно только в 1981 году, была, по-видимому, тем горнилом, в котором Солженицын начал испытывать свою концепцию русской национальной судьбы. Первоначально она называлась „Декабристы без декабря“. В ней Рубин-Копелев спорит не с Нержиным-Солженицыным, а с полковником Воротынцевым, т. е. с другим двойником автора, намного более придуманным, вымышленным. Рубин мечтает о новых декабристах (а ведь он правоверный марксист), Воротынцев — о восстании народа, преображенного ГУЛагом (а ведь он воплощает идеи и ценности старого режима). Вот этот спор, обмен репликами в картине 1 *Пленников*:



Русские солдаты отправляются на фронт в августе 1914



Николай II осматривает войска в августе 1914  
„В эти горькие дни чего более всего не хватало — это общения с гвардией, глотнуть их военного духа.”

## Р у б и н

Да, друзья мои, не первым нам  
Из Европы чистенькой в немытую Россию возвращаться.

И столетие назад, другим полкам,  
Это тоже тошно было, братцы.

И тогда на нашей скудости и нестали  
Распустилось дивное цветение –  
Муравьевы, Трубецкие, Пестели.  
А сегодня – наше поколение.

Но они дошли до площади Сенатской,  
Мятежом свой замысел обвершили, –  
Вас схватили на границе азиатской

И сидите в СМЕРШе вы...

В о р о т ы н ц е в

Нет, простите, случай ваш – не тот.

Если ожидает нас переворот, –  
Дай-то Бог! – то не шипучая дворянская игра

От шампанского, от устриц с серебра,  
Не заемные мечтанья, что там было, где, –

Но вот этот кряжистый народ,

Настрадавшийся на баланде.

VIII, 146

Н. Решетовская сообщает, что первые пробы солженицынского пера относятся к 1940 и 1941 годам и что ее муж даже представлял их на суд писателя Бориса Лавренева. Вероятно, сегодня Солженицын видит в них лишь юношеский лепет: он не включил их в план Собрания Сочинений, которое выходит в Париже. Собрание это открывается переработанным и полным вариантом *Круга первого*, первым, после лагеря, большим произведением, начатым в кок-терекской ссылке (Кок-Терек – поселок в Казахстане, который в *Раковом корпусе* стал Уш-Тереком, где живут добрые и умные Кадмины, – настоящая их фамилия была Зубовы). Лето 1955 года, которое, после долгого пребывания в онкологической клинике в Ташкенте, Солженицын проводит в своем глинобитном домишке в Кок-Тереке, – первая передышка в жизни этого человека, столь дорожащего своим временем и правильным распределением своих творческих сил. Он пишет, пишет целыми днями – и, по мере написания, прячет написанное.

В Кок-Тереке, надо полагать, Солженицын раздумывает над литературной формой, которая лучше всего отвечала бы опыту и вести „пленников”: вести о рождении бунта и духовного обновления в самом ядре каторжного опыта. Это тема „декабристов без декабря”, т. е. без эпизода на Сенатской площади, столь театрального, столь анахроничного и, в первую голову, столь немыслимого при сталинском режиме.

От грибоедовской комедии Солженицын переходит к более „реалистическим” жанрам, в которых он пытается представить и символически обобщить то, что было испытано непосредственно на шарашке и в лагере.

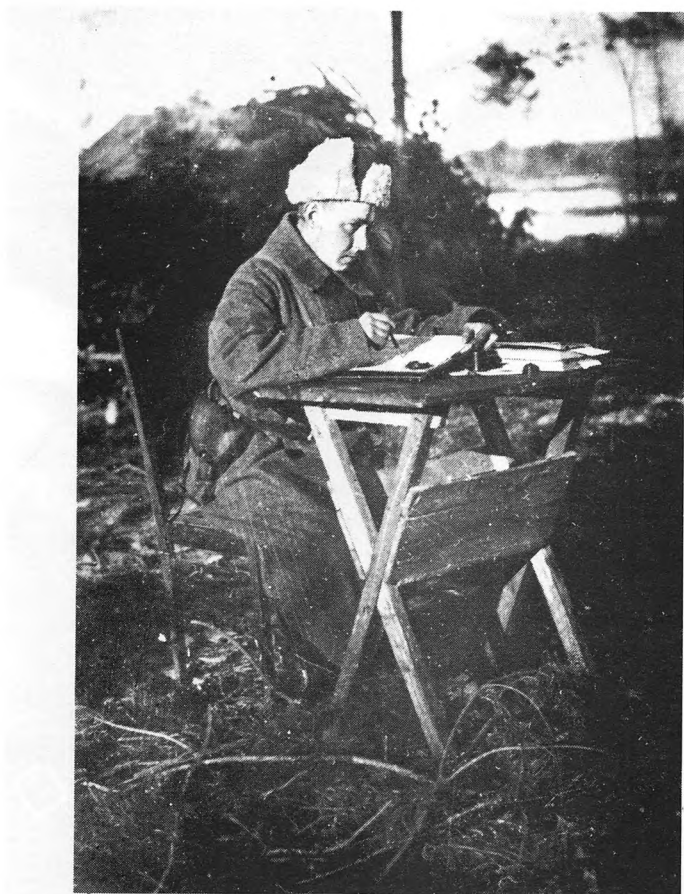
Для лагеря он сохраняет драматическую форму, но — менее традиционную, меньше ориентированную на отточенные сентенции, на остроумие в духе Грибоедова. Он пытается создать настоящий театр каторги. Отказ от грибоедовского стиха (начавшийся уже в *Пленниках*), непомерно разрастающиеся описания декораций (эти длинные авторские ремарки приближают пьесу к рассказу) и погружение в лагерный жаргон — все эти новые черты так и бросаются в глаза.

На сцену выведен двойник автора. Нержин назначен заводчиком лагеря.<sup>2</sup> Горькая участь — быть надсмотрщиком над рабами, самому оставаясь рабом! Простодушный „олень” Нержин еще не знает железного закона джунглей ГУЛага: здесь выживают только „устриваясь”, иными словами — за счет других. Уголовники не слушаются „олень”, издеваются над ним; в конце концов, он лишается своего привилегированного положения — и с радостью вновь разделяет общий жребий. Пьеса выстроена по шекспировской схеме: падение честного слуги и возвышение слуги бесчестного. Рабелепствующий „двор” головорезов, прихлебателей и поставщиков жалких наслаждений осаждают начальника лагеря и добивается смещения человека достойного и назначения прохвоста. Но на фундаменте схемы-шаблона возведена целая энциклопедия ГУЛага. Пьеса пропитана лагерным жаргоном, который либо находит объяснение в контексте, либо прямо растолковывается — благодаря присутствию наивного „олень”, которому надо все переводить на обычный язык. По правде сказать, эта „мотивация” не слишком убедительна: трудно поверить, что



Солженицын и его друг „Кока“ (Виткевич) на фронте в 1943 г.





Солженицын на фронте пишет письмо на раскладном столе

Нержин, „олень”, едва прибывши в лагерь, мог привлечь к себе опытный, искушенный взор начальника, прекрасно знающего, что ему нужен не бывший офицер, привыкший командовать свободными людьми, а волк, который сумеет без всякого зазрения совести выжать последние соки из заключенных. Пьеса показывает всю человеческую вселенную исправительно-трудового лагеря: мужчины содержатся вместе с женщинами (в отличие от спецлагерей), всем заправляют уголовники, лагерный врач устроил для себя в „больничке” гарем из восьми девушек, бухгалтер Соломон грабит „доходяг” (тех, кто не умеет „устраиваться”) и предвосхищает все желания начальника, даже самые смутные, женщины продают себя за пайку хлеба. Рассказывается даже о междусобной войне 1945 года между „ворами”, сохранившими верность своему „закону”, и „суками”, смирившимися с требованиями начальства. При всем том „воры” и „суки” единодушно эксплуатируют „фашистов” (политических заключенных) и „доходяг”. Уголовники были для Сталина „социально близким элементом”, тогда как „пятьдесят восьмая” (статья 58 Уголовного кодекса — об „антисоветской деятельности”) была „неисправима” и обрекалась гибели на „общих работах” (чаще всего — на лесоповале). „Олень” Нержин, боевой офицер, попадает в лагерь прямо с фронта. Хомич, который сталкивает его „с трона”, отсиживался в тылу, воевал только в московских конторах. „Что с моей головой? — спрашивает себя Нержин. — Я в каком-то злом сне... Зачем я полез в начальники? Я думал, это как в армии: офицер! приказ... хо-го!.. Какой-то гадливый ужас — чтобы только самому не попасть на общие. Общие — это смерть! Но начальником здесь быть — ещё хуже смерти...”

От кухни до стола нарядчика, от „больнички”-серала до литейной, от строительной площадки до особняка начальника лагеря — тут все человечество по Гоббсу, со своими волками, эксплуататорами, подонками, со своими убийствами и потаенной любовью. „Разжалованный” Нержин вновь обретает совесть, но теряет любовь Любы, которая кричит ему: „Скажи, родной! А ты е с т ь не хочешь сейчас? Я е с т ь хочю! Я голодная! Я всю жизнь хотела е с т ь !! Разве мы с то-

бой в лагере проживем? Устраиваться ты не умеешь, работать ты ничего не умеешь. Один ты еще как-нибудь выплывешь, а со мной потонешь”.

Этой неотступной заботе о подлинности, о строгой документальности обязана пьеса своей чрезмерною сложностью, своим „педантизмом”: автор хочет ввести нас в закрытый, спрятанный от чужих глаз мир, преподать нам человеческую географию ГУЛага.

Уже здесь выступает стремление быть этнографом племени эзков. Уже здесь появляется тема невозможной любви, тема мужской дружбы как верного прибежища. Уже здесь звучит яростная ирония: ведь в этой исторической хронике, изображающей неизбежность падения добродетели и возвышения плута, — вся жестокость, все бахвальство греха из *Вольпоне*, вся несправимая низость человеческой природы в целом и прихлебательства в особенности, только *Вольпоне* этот разыгрывается не около постели богатого венецианца, а в грязи ГУЛага, между вышками, за колючей проволокой, в „зоне”, которая становится здесь театром человеческой подлости. Мы начинаем различать главную солженицынскую метафору: ГУЛаг — новый театр смертных. Он приходит на смену дворцам Расина, буржуазным гостиницам Анри Бека, площадям Аристофана. Это новое место символической игры смертных — игры жалкой, но по-прежнему зверской. „Вороны” обрушиваются на „невинного” с тою же хищностью, что в натуралистическом театре конца девятнадцатого века, но колючая проволока заполонила сцену в прямом смысле слова, и человеческое стадо становится буквально стадом: его считают и пересчитывают в тусклом свете зари на утренней поверке.

Пьеса была поставлена театром „Современник” в 1962 году, но спектакль запретили в последнюю минуту. Она представляет собою крайнюю точку в изобличении сталинизма в хрущевской России. Перегруженная лагерным жаргоном, подкрепленная удручающим символизмом декораций (Солженицын выписывает их в ремарках с педантической точностью), она могла вызвать отклик, который трудно было предвидеть. Во всяком случае, этот первый большой текст Солженицына после десяти лет подполья на сцену выйти не смог.

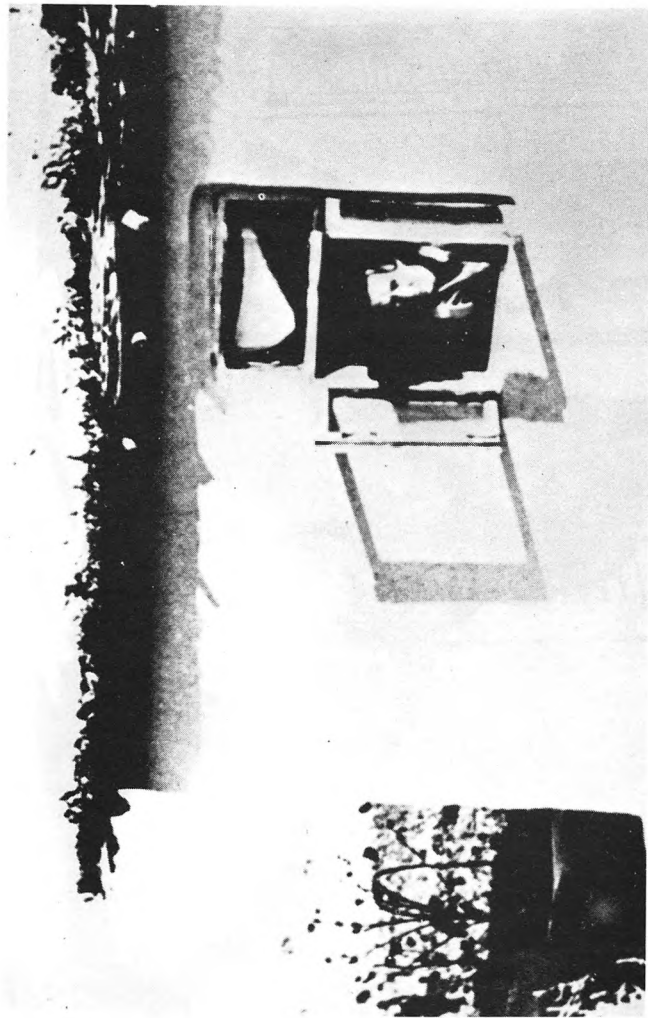
Но, по сути дела, эта пьеса в рамках сцены не уместается. Вероятно ей было бы просторнее и лучше на экране. И в 1959 году, в Рязани, Солженицын напишет сценарий „Знают истину танки“, основанный на событиях лагерных восстаний в Экибастузе и Кенгире. Этот сценарий очень характерен для солженицынской тенденции сжимать время и давать полную свободу зрительности — тенденции, которая с неизбежностью приведет его к „кинороману“; эту форму он начнет разрабатывать в *Августе Четырнадцатого*, опираясь на американский роман Дос Пассоса.

В Кок-Тереке это смещение от театра к прозе приводит его к замыслу первого большого романа — *В круге первом*. От театра он сохраняет перевес диалога, символизацию действия, единство места (можно предполагать, что к своеобразному соблюдению классических „трех единств“ Солженицына подтолкнула тюрьма). Но диалоги *Круга первого* — благодаря расширению пространства в романе — впишутся в концепцию, намного более широкую, и мы увидим даже, как, через особое **наложение кругов**, она выйдет в бесконечность русского простора-воли. Вдобавок диалог в *Круге первом* носит характер намного более педагогический, майэвтический (по-сократовски), чем в трилогии. Для Солженицына шарашка была „Академией“. В беседах с учеными, историками, философами, старыми революционерами он осознал сложность человеческой культуры. От таких ветеранов ГУЛага, как Фастенко, он услышал о подлинной судьбе русского социализма. Он расспрашивал Копелева о русском терроризме. Это были не только „перипатетические“ семинары в коридорах тюрьмы, не только бессонные ночи за чтением и записями в толстых тетрадях (каким-то чудом ему вернули их после освобождения). Четыре года кряду Солженицын вел диалог с самыми независимыми и просвещенными умами своей страны. В этой устной, диалогической форме интеллектуальных споров есть что-то сократическое. Несомненно, что тогда же Солженицын открывает для себя Платона. Философским отблеском платонизма проникнута главная идея романа. Да и сама форма глав-диалогов тоже платоническая...

Если *Республика труда* — запись первых впечатлений

Солженицына в ГУЛаге, то в *Круге первом* записаны его впечатления и опыт в тюрьме-лаборатории Марфино. Первоначально роман назывался „Республика Марфино” (позже Марфино станет Мавриным). После недавней публикации полного варианта *Круга* математическая архитектоника видна еще яснее. Опыт Солженицына передан намного обширнее, богаче. **Ученичество** (или посвящение) Нержина в *Круге* бесконечно сложнее, потому что оно выходит за рамки ГУЛага и распространяется на всю человеческую культуру и философию. Это уже не хищный и примитивный мир *Вольпоне*, это полифония Данте: Нержин-Данте, ведомый Сологдиным-Вергилием, пересекает века философской мысли человечества. Шарашка — как раз то место, где приобретает и осуществляется метафизическая свобода человека. За пределами ГУЛага лежит страна полного, беспросветного рабства — мир прокурора Макарыгина, дипломата Иннокентия, придворного писателя Галахова, ночной мир Сталина и его трепещущих подручных. Напряженно сатирические „внегулаговские” главы составляют как бы антиматерию романа. (Солженицын использовал в них свое приобретенное позднее знание советского „большого света”).

Невозможно забыть рассказ в *Теленке* о том, как роман читает Твардовский — у автора, в Рязани, на Пасху 1964 года. Захваченный „чувством реальной опасности”, втянутый в исполинскую сталинскую машину „дешифровки” голосов и людей, еще не лишившихся человеческого голоса, Твардовский требует водки, зажигает все лампы, испытывает симпатию то к жертве, то к палачу и кончает каким-то полубезумием. И „безумие” это — оно отчасти и наше: перед лицом испытания душ огнем, сводчатого подземелья, где бодрствует и цедит сквозь зубы слова диктатор, перед лицом густой сети доносчиков и охранников, которые травят бессмертную душу эзков, запертых в ковчеге Марфина. Что касается фабулы, то существует значительное различие между „Кругом 87”, т. е. в восьмидесяти семи главах, и „Кругом 96” (в девяносто шести главах); этот последний писался в 1955-1958 годах, сперва в Кок-Тереке, потом у Матрены и, наконец, в Рязани, но читатель знаком лишь с вариантом, переработанным в 1968 году. Различие броса-



Домик Солженицына в Кок-Терек (лето 1955 г.)

.... вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как отдых, а дождь как праздник, и вполне уже, кажется, смирится, что будет жить здесь до смерти”.



Солженицын на пароходе (поездка по Волге в 1957 г.)

ется в глаза с первой же главы: Иннокентий звонит не доктору Доброумову, а в американское посольство. И не по поводу лекарства, а чтобы предупредить о выдаче планов атомной бомбы супругами Розенберг. Сразу же роман приобретает исторический размах и напряжение еще более колдовское: с первого шага мы вступаем в „холодную войну” через самый спорный, самый жгучий ее эпизод. Солженицын воскрешает здесь проблему, восходящую еще к античности. Обязан ли патриот подчиняться тирану? Поступок Иннокентия — это бунт против несправедливой власти. В главе 61 нового варианта поступок этот разъясняется. Иннокентий получает урок истории у своего старого дяди с материнской стороны, который живет отшельником в жалкой избе, охраняемый самим ничтожеством своего существования. Дядя преступно сохраняет комплекты газет, начиная с 1917 года: сталинская ложь разваливается при чтении этих пожелтевших страниц, с которых говорят Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев. И тот же старик-дядя задает решающий, „проклятый” вопрос, заимствованный у Герцена: „Где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое ее правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?” Дядя был в числе тех четырех или пяти тысяч демонстрантов, которые в январе 1918 года протестовали против разгона Учредительного собрания. А отец Володина был среди тех, кто прикладами, с грубыми издевками разгонял перепуганных представителей народа; впоследствии туповатый чекист женился на молодой девушке из аристократической семьи — матери Володина, чей дневник разбудит душу Иннокентия, приоткрыв ему Россию 1910—1917 годов с ее эстетической утонченностью, нарождающимся плюрализмом, многочисленными изданиями, бурным цветением культуры...

Тогда-то и возникает в Иннокентии потаенное желание смыть грех своего отца и, предавая деспотическое правительство, которому он служит в попугайной униформе дипломата, спасти подлинную Россию, душу России — России, которую он видел лишь мельком, с которой едва знаком; но он испытывает твердую уверенность, что, если хозяева этой России получат в свое распоряжение „абсолютную” бомбу,

II, 83



то рабству ее уже не будет конца никогда! Шарашка, где, в относительно „позолоченной” тюрьме, бригада ученых-каторжников трудится не покладая рук над дешифратором человеческого голоса (он будет служить целям как контршпионажа, так и шпионажа), размещается в старинном здании восемнадцатого века с парком, где насажены липы, и с высоким забором вокруг; когда-то здесь была духовная семинария, прилежавшая к храму Троицы в Останкине, на севере Москвы. В ноябре 1961 года Солженицын был в Москве. Он остановился в гостинице в Останкине. И вот он снова бредет мимо того же забора, только теперь — с другой стороны, снаружи: „Он всё так же стоял, по тому же периметру обмыкал всё то же малое пространство, где когда-то стиснуто было столько выдающихся людей и кипели наши споры и замыслы”.

БТ, 23

Две высокие липы, пилка дров по утрам, интриги в лаборатории, мимолетные интрижки с „вольняшками”, ночные словоизлияния эзков, стукачи, майор Шикин, инженер Яконов и инженер Ройтман (у каждого — свой тайный порок: один — бывший ээк, другой — еврей), художник Кондрашев, дворник Спиридон — здесь все „правда”, все взято из воспоминаний о тюрьме-семинарии. (Рассказ Солженицына подтверждается упоминавшимися выше мемуарами Льва Копелева.) После освобождения Солженицын встречается с несколькими из бывших марфинцев: с Паниным — Сологдиным романа (ясные голубые глаза, светлая сила; это он уговорил Солженицына вместе вернуться в ГУЛаг и, тем самым, избавиться от „добровольного рабства” шарашки), с Львом Копелевым — Рубиным (первоначально Левиным) романа, нераскаившимся марксистом и удивительным рассказчиком, с Ивашевым-Мусатовым, художником-философом шарашки (в романе он окрещен Кондрашевым-Ивановым). А эпизод с Надей, женою Нержина, не только прямо навеян историей Солженицына и его жены Натальи Решетовской, но и заимствован из личных записей этой последней. Вечер, который она проводит со Шаговым, драма измены после стольких лет разлуки, атмосфера студенческого общежития на Стромьнке, развод, которого добивается жена Панина, — все нашло свое место в романе. Что же до

шикарной квартиры на Калужской заставе, где пирует семья прокурора Макарыгина, то она находится в доме, который в 1946-1947 годах строили зэк Солженицын и его товарищи по каторге...

В 96-главном варианте отчетливее обнаруживается органическая связь между *Кругом первым* и Великим Замыслом. Так, в главе 27, когда Нержин и Сологдин отдыхают после пилки дров („Воздух будто проходил в самые затхлые уголки их нутра”), объявлено о главной идее Солженицына – написать историю революции:

„ – Но если тебя сейчас отправят в лагерь, – спросил Сологдин, – как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило – по революции.)

– Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение единой строки одинаково грозит мне казематом что там, что здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня нет и тут. К архивам меня и до смерти, наверно, не подпустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества моего никакими шмонами не отнять: горе, которое я испытал и вижу на других, может мне немало подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?”

I, 203

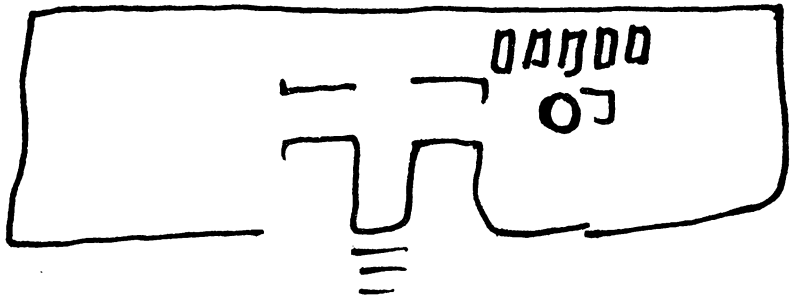
Нержин не только слышал со школьных своих лет „набат истории” – как и его прототип, Солженицын, он ощущает себя носителем особой миссии, миссии исследователя, которая приводит его на шарашку, в лагерь на „общие”, к дворнику Спиридону, к Сологдину и Рубину. Так „реально” пережитое писателем еще теснее сопрягается в „вымышленной” версии с главным планом, т. е. с историософским замыслом, который Солженицын лелеет с тех пор, как стал взрослым: осмыслить русский „катаклизм”. Конечно, пережитое в лагере остается первым и организующим элементом произведения. Но на него накладывается, смешивается с ним историософская мысль, существенно усложняя – по сравнению с пьесой – игру „правды” и „прозы”.

Гипнотическое очарование, которому подпадает читатель, одним из истоков своих имеет обилие подлинного материала. Наряду с миром Лубянки, ее пустынными коридорами, где надзиратели, ведущие заключенного на допрос, издают на каждом повороте тихий клич (подобно венецианским гон-

дольерам), чтобы не допустить встречи двух узников, наряду с системой „безопасности” в тюрьме-лабораторий, внезапными погружениями в одинокий мир самого страшного тирана на земле и его трясущихся от страха пособников мы встречаемся с несколькими культурными сферами, в частности – научной и философской. Научная сфера открывает нам Солженицына-математика, которому доступны ряды Фурье и Бесселевы уравнения, Солженицына-физика, досконально знакомого с проблемами криптографии и фоноскопии. Сфера же философская соответствует скорее тому описанию, в котором находится Нержин: шарашка была Ликеем и Академией для молодого Солженицына. Гоббс, Ла Бозси, Эпикур и Дионисий Ареопагит, Лао-цзы и Конфуций – к ним апеллируют в своих раздумьях люди, насквозь пропитанные старой культурой и собранные волею деспота в этой новой „Академии”. Богатство пережитого организует здесь даром математика, романиста и философа – сочетание, которое во всем, что создано Солженицыным, нигде, возможно, не обнаруживает себя с такой очевидностью. Это самое вдохновенное его сочинение. Если оно погружает нас во мрак двадцатого века, то одновременно и возводит на борт ковчега каторжников-математиков, новых стойков, занятых разрешением древней, как сама античность, проблемы отношений меж мудрецом и тираном.

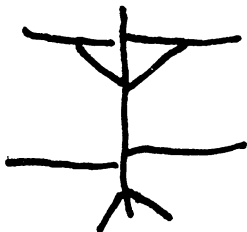
В 1959 году, прерывая работу над *Кругом*, Солженицын за три недели пишет *Один день Ивана Денисовича*. Это „отросток” от большой книги (Шухов повторяет Спиридона) или, скорее, сжатый, сгущенный, популярный вариант эковской эпопеи. Точно так же *Правая кисть* будет „отростком” от *Ракового корпуса*, *Ленин в Цюрихе* – от *Красного колеса*.

Иван Денисович – заключенный номер Щ-854 (первоначально повесть так и называлась: „Щ-854”) на угольной шахте в Северном Казахстане. И, как Солженицын, он сумел закрепить за собою в лагере одну профессию – каменщика. Бригадир Тюрин, капитан второго ранга Буйновский (в жизни – Бурковский) – все подлинные фигуры; только Иван Денисович сложен из солдата-артиллериста той батареи, которой командовал лейтенант Солженицын, и из лагерника



Два рисунка Солженицына:  
план барака Ивана Денисовича и схема „вагонки”

„Шухов не вставал. Он лежал на верху вагонки,  
с головой накрывшись одеялом и бушлатом...”



Солженицына. Рассказ об этом дне был, по-видимому, задуман еще в лагере, зимою 1950-1951, но написан в один присест летом 1959. Бритая, беззубая, изнуренная и словно бы усохшая голова Шухова; побудка ударами молотка в рельс; точный план зоны с каменным БУРом, с вахтой, с санчастью, с бараками; придурки; счет и пересчет человеческого стада; всевластье бригадира; чувства при обыске, когда в рукавице припрятан кусок железа; очереди к раздаточным окошкям в столовой; разговоры перед сном с соседями по вагонке; драгоценная искривленная ложка с наколкой „Усть-Ижма“, — имя лагеря, где Иван едва не умер от цынги в 1943 году, — после каждой еды Шухов заботливо прячет ее за голенище валенка: тут все человечество ГУЛага под рубищем с номерами. Безумная лихорадка работы, когда мороз „схватывает“ раствор прежде, чем каменщик успеет взять кирпич и решить, какою стороною его класть. И потом сладость затяжки из „недокурка“ (царский подарок менее обездоленного) и глубокая, благословенная радость — нащупать деснами тощий рыбий хребтик в теплоте баланды... *Один день* — антропологический этюд, „выжимка“ из жизни зэка. Каждое чувство, взгляд, оценка, опасение передано здесь через Ивана. И звездное небо, беспрерывно ослепляемое мощными прожекторами, — это небо зэка, непохожее на небо князя Андрея или небо влюбленных из давно минувших времен. Мир без женщин: „Не упомяну, какая она и баба“, — говорит надзирателю Иван, моя пол на вахте. По поводу „эпизода со стеной“, которую Иван кладет в каком-то размеренном опьянении, было пролито немало чернил. („Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор — и на то место бросает и запоминает, где прошел нижний шов: на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить“.) Эрнст Фишер, Лукач и многие другие усмотрели в нем социалистическую „философию“ повести: вопреки сталинскому рабству Иван избавляется от отчуждения, вновь становится субъектом истории благодаря труду, принимаемому не как подневольная мука, но как подвиг человека. („То, что он начинает по принуждению, он хочет завершить как свое собственное дело, сознательно идя на риск“. Эрнст Фишер, *В поисках реальности*.) Дмитрий Панин яростно

III, 14

III, 68

упрекает Солженицына за эту сцену: на самом деле, рабы ГУЛага вредили своей работе, протестует он. Солженицын оправдывается в Части третьей *Архипелага*: „Такова природа человека, что иногда даже горькая проклятая работа делается им с каким-то непонятным лихим азартом. Поработав два года и сам руками, я на себе испытал это странное свойство: вдруг увлечься работой самой по себе, независимо от того, что она рабская и ничего тебе не обещает. Эти странные минуты испытал я и на каменной кладке (иначе б не написал)...” Так Иван Денисович Шухов, простой каменщик, находчивый и наивный, великодушный и отважный, закаленный испытаниями этой жизни, поступком, действием говорит нам о том, что было главным открытием Солженицына в лагере: человек спасается своим человеческим достоинством. (Но Шаламов, автор страшных *Колымских рассказов*, возражает: какие там еще кошки на вахте? в нормальном ИТЛ всех кошек уже давно съели... И что это еще за ложка, сохраненная с Усть-Ижмы? на Усть-Ижме уже давно ни у кого не было ложки...)

В 1959 году в Рязани Солженицын задумывал написать „Один день советского учителя”, как вдруг засел за повесть „Щ-854”. Толстой сказал, что день мужика может составить предмет для такого же объемистого тома, как несколько веков истории. И этот толстовский метод наложения единицы авторского письма (повесть) на биологическую единицу (один день одного человека) соблазняет Солженицына-математика: день — математическая точка, через которую проходят все планы-плоскости жизни. Выходец из лагерей, он — с момента возвращения — наблюдает, как функционирует это советское общество, к которому он вновь принадлежит, старается постигнуть его законы, силу его тяготения. Этот „цивильный” опыт даст *Раковый корпус*, рассказы, появившиеся в *Новом мире* в 1963 году (*Матренин двор*, *Для пользы дела*); три других рассказа — *Правая кисть*, *Случай на станции Кочетовка*, *Как жаль!* — кладут начало историческим разысканиям. Вся эта группа произведений, задуманных и написанных в Рязани, представляет собою цикл разысканий о *скудости* советского человека, скудости моральной, психологической и социальной.

Действие *Матренина двора* происходит в 1956 году. Как и Иван Денисович, Матрена говорит распевно, по-рязански. Бывший зэк, а ныне школьный учитель и его квартирохозяйка, немногословная, улыбчивая, бескорыстная, сразу находят общий язык; в основании этого согласия — взаимное уважение и молчание. Жаждающий обрести приют в каком-нибудь мирном уголке России, Игнатич, рассказчик, разделяет скудость и внутренний мир Матрены. Здесь все „правда” — от колченогой кошки до пожелтевших плакатов. Но „связь и смысл её жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение”. У Матрены, „русской женщины” (вспомним Некрасова!), двойное призвание: она образец скромности, воздержности, и Солженицын видит в ней истинный смысл русской жизни, но вместе с тем она таит в себе трагедию. Трагично ее прошлое, исковерканное скотской грубостью мужчин. Трагичен ее конец: жадный деверь, который вырвал у нее „горницу, стоявшую без дела”, и сделался, таким образом, косвенной причиной ее бессмысленной смерти на железнодорожном переезде, — это само вечное буйство, эгоизм, хищность, которые обезображивают Россию и рушат „связи и смысл” Матрениной жизни. Солженицын сделал эту притчу-репортаж из подлинного происшествия, которому был свидетелем и потому пережил его с особенной остротой. Изможденное лицо хозяйки стало одним из тех „узлов” русской судьбы, которые он так страстно искал. Невозможно перевести все областные, крестьянские словечки и обороты этого репортажа, но даже в переводе читатель живо ощущает удивительную **подлинность** рассказа. Солженицын обращается к жанру очерка — тому же самому, которым воспользовался Тургенев в *Записках охотника*. Словно бы сама жизнь подарила неизвестному Игнатичу, укрывшемуся в дальнем уголке русского пейзажа, этот образ русской судьбы, эту Матрену, бедную „благами”, но прямо восходящую к Блаженствам Нагорной проповеди.

В *Теленке* Солженицын рассказал, как был смущен Твардовский этим очерком, столь мало приукрашавшим советскую деревню. Наглой женою председателя колхоза, стариком Фаддеем и его пронырливыми и жадными сыновьями

Солженицын начинает свой репортаж о советском обществе, морально опустошенном, но незримо обогащаемом „праведниками” вроде Матрены.

*Раковый корпус* выстроен, в первую голову, на опыте собственной болезни: биопсия, сделанная в лагере, две госпитализации в Ташкенте, куда приезжает „умирающий” ссыльный из Кок-Терека. Поездка в Ташкент весной 1964, чтобы освежить в памяти места, чтение медицинского учебника, упорное желание понять свой недуг, отказ подчиниться „врачебной власти”, превращающей пациента в безвольный и бездушный предмет, обращение к знахарям и к „иссык-кульскому корню” — здесь опять-таки все „д правда”, только пребывание в Джамбульской больнице и два последующих, в Ташкентской, сведены воедино. *Раковый корпус* в клиниках Ташкентского мединститута действительно носит номер 13! Возвращение к жизни Олега Костоглотов, мелодия Четвертой симфонии Чайковского в конце главы 11, улыбка доктора Веры Гангарт, челка медсестры Зои, горе немки-экономки, тревожное и в чем-то симпатичное хамство шофера и бывшего лагерного охранника Поддуева, спесь и смятение аппаратчика Русанова, скромная жизнь, довлеющий себе рай Кадминых в Уш-Тереке, флирт с Зоей, немая любовь с Вегой — все взято из обжигающих еще воспоминаний о первых шагах ссыльного, которому, едва „освободившись”, едва получив право ходить по этой земле без конвоя, пришлось столкнуться с опухолью и с новым вариантом все того же главного вопроса: какую цену стоит платить за жизнь? Этот Олег Костоглотов, скандалист, упрямец, студент географического факультета Ленинградского университета в 1938 году, призванный в армию девятнадцати лет от роду, ставший землемером в своей уш-теркской ссылке, — конечно же, снова сам Солженицын. Или, скорее, это новый этап его пути, его обучения жизни: научиться, как отказываются командовать (Нержин в *Республике труда*), научиться, как отказываются от призраков и привилегий знания (Нержин в *Круге первом*), и, наконец, как отказываются от любви, от сияния пола (Олег Костоглотов). Игнатич из *Матренина двора* — это как бы венец обучения искусству отказываться: он — русский мудрец, сформированный



тюрьмою, смертью и Востоком (мудрость узбеков – товарищей по болезни и по больнице).

17 ноября 1966, на обсуждении романа в Московском отделе Союза писателей, Солженицын объясняет, что сюжет был подсказан ему болезнью и что поэтому он изучил предмет почти профессионально. Он рассказывает еще, что статья Померанцева об искренности в литературе (одна из первых ласточек „оттепели“), действительно, переходила в палате из рук в руки и что Юра Маслов, ставший в романе Демкой, действительно, обращался к нему с расспросами по этому поводу. А 10-й том Толстого издания 1928 года не он, автор, принес для своих, целей: книга, и в самом деле, была в палате, и Поддуев не мог не открыть в ней того, „чем люди живы“. Можно не только составить точный план палаты, перевязочной, здания и парка, – можно „наложить“ его на то же описание в *Правой кисти*. Окно в комнате студенческого общежития, где живет Надя (*В круге первом*), описано с той же точностью, что перевязочная. („Но так как он не должен был шевелиться, то осталось в его окоёме: стойка с приборами; ампула с коричневой кровью; светлые пузырьки; верхи солнечных окон; отражения шестиклеточных окон в матовом плафоне лампы; и весь просторный потолок с мерцающим слабо-солнечным пятном“).

IV, 319

Эта страсть **видеть** составляет даже черту натуры Олега и, возможно, объясняется долгим зрительным воздержанием: микроскоп лагеря ограничивает взгляд, но и заостряет его, делает взыскательным. Вездесущий **взгляд** объясняет **лихорадочный реализм**, которым отмечены описания в этом тексте. И в социальной галерее *Ракового корпуса*, от надутого доктринера-аппаратчика (через него мы заглядываем во все общество обеспеченных) до старого большевика Шулубина, который онемел от сознания своего морального вырождения, от бывшего лагерного охранника до спекулянта, – та же настойчивость взора, страсть увидеть каждого насквозь. С наслаждением поставив их перед судом рака, Солженицын наблюдает за ними с придиричивостью человека, у которого надолго отняли право наблюдать.

Выздоровливающий после лагеря, выздоравливающий после рака, выздоравливающий после длительной разлуки

с Россией, ссыльный Солженицын широко раскрывает глаза, осмеливаясь с каждым днем видеть все лучше – мощь южного солнца, пышность урюка в цвету, взрывчатую синеву узбекского орнамента, жеребенка, незаконно пробравшегося в больничный парк и топчущего траву на лужайке. Как хорошо видеть мир!

Впрочем все тем же выздоравливающим написаны и *Крохотки* – стихотворения в прозе во славу бытия: аромат яблоки, запах трав, суета муравейника, чернота и молчание озера. Из Рязани Солженицын отправляется в странствия по России. Восток, как барельеф, помог ему понять выпуклую выразительность русского мира. На велосипеде, вместе с женой, или пешком он посещает район Оки – колыбель русского „реализма”, Северный Кавказ – колыбель его собственного рода, леса Белоруссии, где он сражался еще недавно... Этот голод взгляда он утоляет методически и упорно. *Крохотки* рассказывают нам о его встречах с русской красотой, но также об упадке родины, о хищнической власти над нею новых хозяев, о всеобщем равнодушии, унижающем ее и опустошающем. При виде „старого ведра” нахлынули воспоминания о боях 1944 года; деревня, где родился Есенин, открывает ему щедрое изобилие русской красоты, „которую тысячу лет топчут и не замечают”, – обветшалые колокольни, играющие в чехарду на широких изгибах равнины, покосившаяся, вся сквозная изба, гумно, почерневшие заборы... „Пока можно ещё дышать после дождя под яблоней – можно ещё и пожить!”

III, 178

III, 163

Солженицынская страсть „освоить всю реальность” – (Лукач) не наивный взгляд, обращенный к природе и покоящийся на ней. Эта страсть неотделима от „выздоровления” ээка и ракового больного, она – отвоевание непосредственности в мире, полностью „опосредствованном” лукавством идеологии. Рассказ *Для пользы дела* (Солженицын сообщает нам, что это единственная его вещь, написанная специально для публикации в советском журнале) посвящен этому отвоеванию правды у театра советской идеологии. И в высокопарных речах партийных инженеров (речах, за которыми прячется нужда и честолюбье), и в непосредственности молодых энтузиастов, строящих школу, которую

у них отнимут, всегда заметно то же желание – разглядеть получше механизмы действительности: пустословие в учительской, эгоизм аппаратчика, сталинский стиль крутого коммуниста, несостоявшиеся экономические реформы Хрущева, грубый, хищнический материализм всех и каждого. Все противодействуют – из косности – усилиям Грачикова, гуманного, отзывчивого и неоспоримо **русского** („... лицо его было такое выразительно русское, что невозможно было переодеть его ни в какой чужестранный костюм или мундир, чтобы его тотчас же не признали за русака“).

Эта диалектика поверхностного и сокровенного, видимого и невидимого выстраивается – всегда! – вокруг идеи России, подлинной, но умышленно скрытой от глаз. Спрятанная, обезображенная, изуродованная – она все-таки существует: надо только **увидеть**, разглядеть ее!

Та же самая диалектика обнаружения действительности, раскапывания правды составляет внутреннюю пружину *Архипелага ГУЛаг*. Архипелаг надо раскопать, выкопать, – как тритонов, которых оголодавшие эки нашли во льду Колымы и тут же съели. Архипелаг и есть подлинная Россия, но она выходит на поверхность лишь изредка, то здесь, то там: эшелон на вокзале, арест друга, лицо с выражением укора и беспомощности, „подозрительный тип” на станции Кочетовка...

Хотя композиционно *Архипелаг* – это энциклопедия советской каторги (исторический очерк, судьба отдельно взятого каторжника, этнография ГУЛага, моральная роль каторги, хроника восстаний) и хотя, со своими семью частями, он представляет собою целую глыбу письма, он подчинен тому же неистовому желанию **видеть**, показать и вызвать в свидетели **очевидцев**.

Прежде всего, *Архипелаг* изобилует портретами – живыми, подлинными, „фотографическими”, как, например, этот инженер сталинской закалки с карьерою, сверкнувшей подобно метеору, разом и хитрый, и разгульный, и наивный, и грубый, как бы „переиздание” русского купца минувших времен; или же мордастые лицемеры-придурки из лагеря в Новом Иерусалиме; или еще „начальница мокрого прессования” на кирпичном заводе, эта Ольга Петровна Матронева



Летом 1964 Солженицын с первой женой отправляются на Куликово Поле



Памятник на Куликовом Поле

„Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом”.

в неизменной красной косынке над „сухим темным профилем”, которая загоняет работою насмерть; или „сука” Береговая в кожаной куртке, с сумкой через плечо, с глазами ведьмы и с неутолимою жестокостью. Лица, сотни лиц пытливо разглядывает Солженицын глазами собственной памяти либо на photographиях, которые ему доверили. Переказывая судьбу, услышанную из чужих уст, Солженицын может быть и насмешливым, и едким, но это не настоящий Солженицын. Ему всегда нужно лицо, чтобы портрет, чтобы рассказ его ожил. Ему нужно лицо и, в особенности, глаза, через которые прошупывается душа.

Остров *Архипелага*, скрытый его остров – это собственный опыт туземца Архипелага по имени Солженицын. Но признания и откровенности разбросаны по разным главам, подпирая их: солдатская жизнь, жизнь офицера, арест, изолятор и затем камера (№ 69) на Лубянке, встречи с людьми, весна 1945 года в тюрьме, физическое истощение, неудачный опыт бригадира, „юная святая” из смежного лагпункта, взывающая с мольбою к своему палачу, радость пламенной дружбы, стыд за искушения, хотя бы и преодоленные... Собирая отдельные страницы, можно восстановить биографию заключенного Солженицына в ГУЛаге.

Стремление приблизить портрет к подлиннику, подпорки из доверительных признаний, сопоставление разных свидетельств, поездки по местам действия (например, в 1966 году, заканчивая книгу, Солженицын отправился на Беломорско-Балтийский канал, вырытый рабами ГУЛага и воспетый Горьким<sup>3</sup>): летописец, портретист, репортер и этнограф Солженицын восстанавливает невидимый Архипелаг терпеливо и с удивительным разнообразием точек наблюдения. Вот, например, в главе 7 Книги третьей развертывается, как в кино, экран: „И ещё это должен увидеть русский экран: как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы и помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбку голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. (А любознательные операторы могут ещё продолжить съёмку и показать, как в 1947 в Долинке привезённые

VI, 191 с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже **проверенную** доходягами помойку.)” Доходяги, изъеденные цынгой, ползающие в зоне на четвереньках, ноги отекли, раздулись, лица усыпаны „сине-чёрными горошинами с гнойными головками”, мертвое лицо соседа на нарах, по щекам расползаются вши: камера Солженицына не знает жалости. Или вот еще „крупный план” — доходяга-еж: при малейшей тревоге он прижимает драгоценный котелок с отбросами к груди, „припадает к земле и сворачивается как ёж”. Отброс человечества, вцепившийся в земную персть, он **выживает**.

VI, 194 *Архипелаг* — историческое исследование, исповедь, сборник свидетельских показаний, репортаж; он задуман как постепенное разворачивание, как путешествие по следам эзков, как некое посвящение. Быстрый, обобщающий рассказ чередуется с замедлениями, необходимыми для „аккомодации” глаза, которому предстоит **увидеть** ту или иную сцену. Ведь в основу солженицынского видения заложена недоверчивость эзка, потребность все проверить на глаз. В двух словах — речь идет о технике ЗРЕНИЯ. Но также — о солидарности. Солженицынский взгляд хочет проверить себя во взглядах других. Нет ни **правды**, ни **реальности** в одиночку, для себя одного. Правда обнаруживает себя в доверительности, в доверии, в сопричастии. Все произведения Солженицына ведут к моменту напряженного „взаимопризнания” (между врачом и пациентом, палачом и жертвой, товарищами по заключению, случайными соседями и союзниками по камере или больничной палате). Мало того: можно сказать, что главное дело Солженицына — это привести к **МЫ** вопреки тотальному террору, который крошит и дробит общество, одевает его страхом. „Сейчас ты увидишь впервые — не врагов. Сейчас ты увидишь впервые — других живых, кто тоже идёт твоим путем и кого ты можешь объединить с собою радостным словом **мы**”. Это **МЫ** подлинной общности (в противоположность искусственному **МЫ** решений и резолюций, принятых „единодушно”) есть **МЫ** настоящей и вновь обретенной социальности.

V, 181 Вместе с „видением” эта вновь обретенная подлинная социальность становится у Солженицына цементом, скреп-

ляющим все его творчество. Она требует от каждого покаяния в своих грехах. Сам Солженицын кается без всякого снисхождения к самому себе: было время, когда он мог стать палачом без малейших колебаний. В школе правды надо пройти через изолятор и одиночку, через науку читать в человеческом лице (в один-единственный миг нужно угадать, не „наседка” ли тот, кто входит в камеру), через обучение сомнению. Социалист Фастенко, ветеран тюрьмы, внушает молодому Солженицыну, что надо научиться **сомневаться**; Фастенко был его Пирроном. Английский канцлер Фрэнсис Бэкон учил недоверию к „идолам”. Во второй части *Ракового корпуса* учение Бэкона вспоминает Шулубин, обращаясь к Олегу, упрямому эзку, но все еще наивному ученику: „Фрэнсис Бэкон ещё в шестнадцатом веке выдвинул такое учение — об и д о л а х. Он говорил, что люди не склонны жить чистым опытом, им легче загрязнить его предрассудками. Вот эти предрассудки и есть идолы”.

IV, 409

Так эмпиризм английского лорда-канцлера, автора *Нового Органона*, посвящает молодого эзку в борьбу против „призраков рода, пещеры, театра”. Можно представить себе изумление Солженицына, открывающего на шарашке этот язвительный список повреждений человеческого разума, составленный английским философом, сама жизнь которого ему близка: Бэкон был заключен в Тауэр, публично ошельмован, потом реабилитирован в 1624. „Из всех призраков, — пишет Бэкон, — самые стеснительные те, кто вкрались в разум ради согласия меж словами и идеями. Люди воображают, будто рассудок властвует над словами; но да будет им ведомо, что слова, обращаясь, так сказать, против разума, возвращают ему заблуждения, которыми он их наделил” (*Новый Органон*, I, LIX). Несмотря на отдаленность во времени этот лорд-канцлер, который предпочел темницу отречению, близок философу из эзков. В конце концов, что проповедует автор *Письма вождям Советского Союза*, если не своего рода эмпиризм: вопреки идеологии, вопреки все более сложным, все более „отчуждающим” правилам и условиям жизни на нашей планете провести для самих себя черту, которую переступить нельзя. Некий эмпиризм в поисках



правды: узкий круг пережитого ценнее, важнее, нежели широкий круг, очерченный идеологиями. Всегда смотреть собственными глазами, никогда — через „очки” идеологии, русановские „очки”.

В разговоре с товарищами по лагерю (речь шла об исторических романах Тынянова) Солженицын утверждал, что сам жанр исторического романа нежизнеспособен.<sup>4</sup> Историческое свидетельство хрупко; Солженицыну-историку нужен посредник — взгляд свидетеля. Так, в *Архипелаге*, в „исторической” главе о Соловецкой каторге в 20-е годы, он вводит вымышленного свидетеля, „человека Серебряного Века”, т. е. уцелевшего выходца из довоенной России, уточненной и почти процветающей. В глазах такого свидетеля тем страшнее позор нового варварства — заключенных, одетых в мешки (как актеры у Гротовского), соловецких „кули”, окрещенных словом „вридло — временно исполняющий должность лошади”.

VI, 38

К такому же посредничеству прибегает Солженицын и в *Красном колесе* — чтобы оживить Россию 1914-1917: ему нужен взгляд свидетеля в центре. И чтобы этот взгляд „работал”, Солженицын сосредоточивает его на нескольких „узлах”. Дальше мы увидим математическое оправдание, обоснование этого выбора, а пока отметим чрезвычайное сгущение информации на временном отрезке в несколько дней. В *Августе Четырнадцатого* все действие собрано в девять дней — продолжительность битвы на Мазурских озерах и гибели Второй армии под командованием генерала Самсонова. Сперва Солженицын погружается в мемуары, документы, сочинения военных историков. Он читает по-немецки: общие работы (Гофман, фон Верг; книга последнего озаглавлена *Танненберг: август 14-20*), мемуары Гинденбурга, Людендорфа и, в особенности, генерала фон Франсуа (его забавное самодовольство и широкие тактические замыслы перейдут в роман). Но, в первую голову, он располагает многими сочинениями по-русски: общей работой генерала Головина, которая была напечатана в Праге в 1926 году и давала анализ поражения и его причин, мемуарами генералов Постовского и Мартоса (второго из них цитирует Головин), сочинением Свечина (он участвует в заключительной сцене

*Августа Четырнадцатого* и появляется в *Архипелаге*), мемуарами о. Георгия Шавельского, последнего протопресвитера русской армии и флота (из них заимствованы почти буквальные цитаты для портрета Великого Князя Николая Николаевича; сам о. Георгий тоже участвует в *Августе*). Солженицын читал учебник истории крайнего монархиста генерала Нечволодова, появившийся в 1912 году, — чтобы лучше видеть этого недоверчивого генерала, чей разговор с полковником Смысловским происходит под усыпанным звездами небом Пруссии. Он изучает книгу бывшего подчиненного генерала Самсонова, полковника Богдановича, вышедшую в 1964 году в Буэнос-Айресе. Из нее взяты многие ситуации романа, и даже игра шрифтами — главы, набранные петитом, ключевые слова прописными буквами — кажутся взятыми прямо у Богдановича.

Самой хронологической сгущенностью (выразительно подчеркнутой в романе неуклонным подсчетом часов и непрерывной хроникой света и звезд) поражение Самсонова давало Солженицыну то соприкосновение с реальностью, которое ему необходимо: он сличает мемуары, вчитывается в приказы и ежедневные сводки, вглядывается в схемы положения на местности, приводимые для каждого дня как немецкими, так и русскими авторами. Многие сцены заимствованы у этих авторов слово в слово: сцена с амулетом — у фон Франсуа, сцена смерти полковника Кабанова, отбивающего у врага знамя, — у Богдановича, встреча Самсонова с Мартосом в разгар сражения — из неизданных мемуаров Мартоса, которые приводит Головин. Головин указывает на карте фронта „дыру”, в которой решит остаться Воротынцев в надежде спасти положение.

Но нельзя не заметить, что Солженицын заостряет черты, утяжеляет осуждения, снимает колебания Головина, который не решается уличить безоговорочно какого-нибудь Клюева или Сирелиуса. И, чтобы добраться до истины в решающих мгновения, Солженицын неизменно заглядывает в глаза: глаза Сирелиуса не могут вынести горящего и испытующего взора черноглазой сестры милосердия. Блуждающий взгляд, нервно вытянутая, как у гуся, шея, голова, стареющая ускользнуть от резкого света лампы (Истины), —

Сирелиус застигнут в самый миг своего малодушия. Портрет Великого Князя — смесь тупого ханжества и надменного благородства — пришел прямо из мемуаров протопресвитера Шавельского. Но и в этом случае Солженицын „перегибает“, выпячивает „предательский” жест. Рассказывая о героической смерти Кабанова, Солженицын сокрушается, что у него нет фотографии героя. Это сожаление симптоматично. Искать истину — это, разумеется, сличать документы, рыться в архивах, сомневаться над мемуарами и испытывать их внутренней критикой текста (и Солженицын-историк неутолим в этих занятиях), но прежде всего — это **видеть** лицо человека, **видеть** предметы, которые его окружают.

Подтверждение этой потребности вступить в непосредственный контакт с героем своего повествования нам дает *Ленин в Цюрихе*. Едва обосновавшись в своем швейцарском изгнании, Солженицын принимается бродить по городу, листает старые альбомы, направляется в кантональную библиотеку. К кропотливому анализу ленинских текстов прибавляются извилистые, живописные улочки старого Цюриха, набережные Лиммата, „обшлифованные” столы ресторана Штюссихоф, фронтоны с гербами и фонтаны со „знаменосцами”. Город Цюрих служит катализатором для зрения и видения, и вот автор отделяет от будущих „узлов” ленинские главы, присоединяет к ним „пропущенную” главу из *Августа* и предлагает читателю этот портрет Ленина. Встреча с Цюрихом, прогулки по старому городу, соприкосновение с „ленинскими местами” насытили и пересытили исторический раствор.

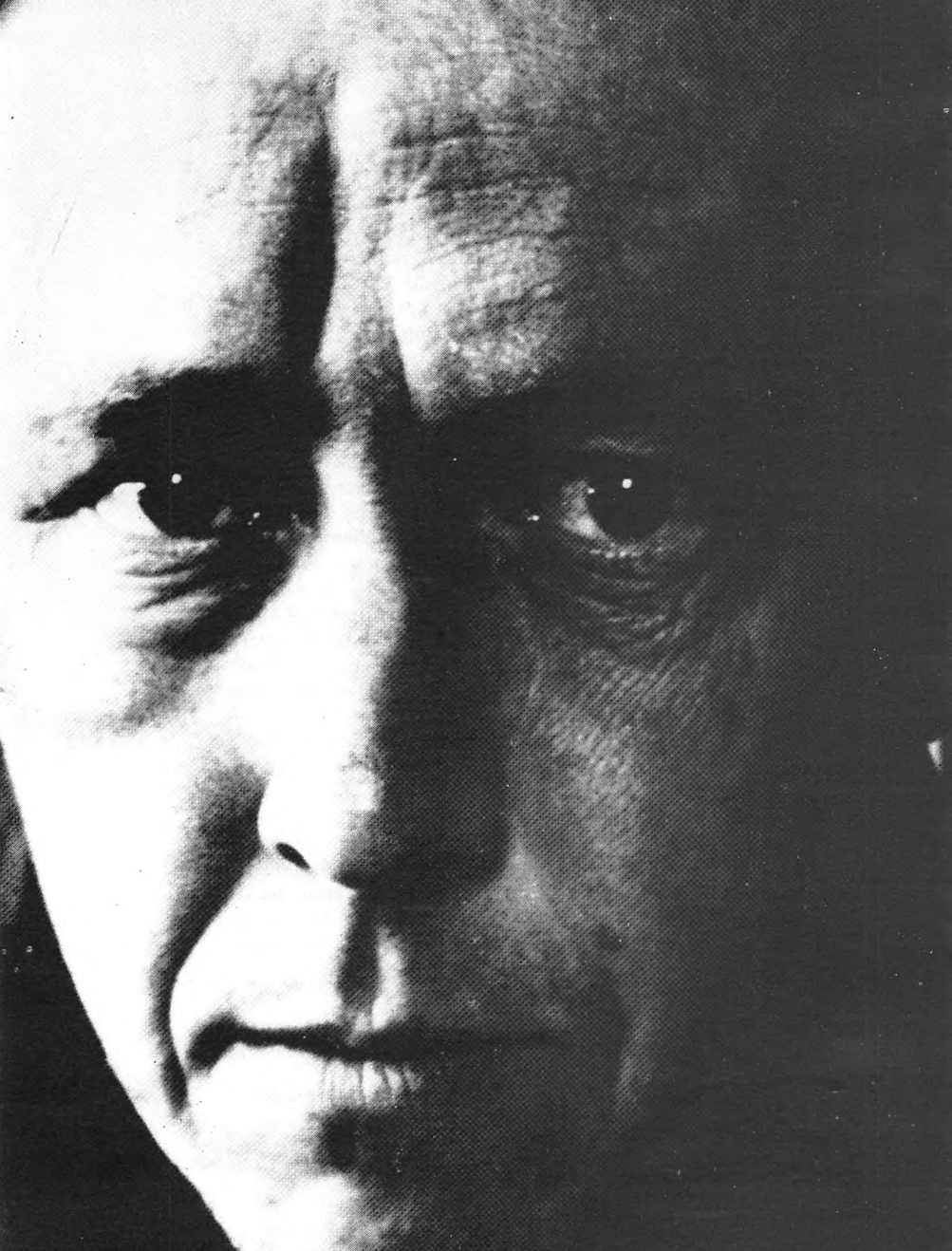
Солженицын не сомневается, что истина существует — и в истории, и в жизни каждого из людей. Как испытание ГУЛагом неумолимо обнажает истинное лицо отдельного человека, так история обнажает истинное лицо нации. Правда для Солженицына неотделима от *ценности*. А ценность измеряется испытанием. Ибо истину заинтересованное лицо (будь то человек, будь то нация) познает лишь в час испытания — депортации, войны, революции. Правда существует изначально, но **открывается** лишь в огненной вспышке испытания. Можно было бы говорить о каком-то средневековом чувстве Божьего Суда: история для Солженицына — это

ордалия. Все прочее – отвлеченные идеи и предвзятые суждения – не более, чем „морщины” на поверхности воды.

Солженицынская система основана на **очевидности**: „истинное” и „справедливое” проступает в испытании само по себе. Но, как всякая мысль, основанная на критерии очевидности, солженицынская мысль натывается на препятствия **кажущегося**: учреждения, партии, идеологии представляются ему в облики необоримых речей. Тут эстафету принимает Солженицын-борец. Его главный метод – хитрость, обман: проникнуть в крючкотворство речи, усвоить тягучую, нудную манеру противника, под которую он прячется, маскируется, обложить изнутри и смущать эту речь сложной игрой физиологических замечаний, открывая противоречия между речью внешней, произносимой и внутренней, мыслимой, коротко говоря – заменить ложную идеологическую связь истинной биологической связью appetitов, отношений, вожелений. Так вырисовывается Ленин – разочарованный, ожесточенный, не выносящий своих собственных приверженцев, чьи взоры жгут его, как купорос<sup>5</sup>; Милуков – честолюбивый, надзидательный, отважный лишь в тесных пределах, исключаящих любой настоящий риск, занятый только самим собой и равнодушный к России, Милуков ленивый, упрямый и втихомолку поглядывающий то и дело назад...

Эти ловушки реальности, далеко не всегда „очевидные”, как хотелось бы, раздражают Солженицына, заставляют его нагромождать главы, сарказмы и повторы. Борец, выкивший к „ясности” ГУЛага, он, видимо, теряет хладнокровие в бесконечных осадах, которые приходится вести против „идеологий”, замешанных в исторический процесс. И тут он не защищен ни от утомительных длиннот, ни от поражений: реалист выходит из себя от того, что „континенты реальности” часто оказываются такими хитрыми, непрыстыми...

„Ястребиные глаза лагерника” →



## ЗАМКИ СВОДА

Мир Солженицына одухотворен, „пневматичен” – он насквозь проникнут дыханием Прекрасного-Истинного-Доброго, иными словами, божественного. „Одно слово правды весь мир перетянет”. В мире, где правит насилие, только искусство способно говорить „истину”, потому что критерий „истины” есть в равной мере критерий „красоты” и „добра”. Для Солженицына платоновское триединство действительно по определению. Он категорически отвергает искусство уродливое, чудовищное, бессмысленное или хотя бы двусмысленное. Искусство не может быть ничем иным, кроме как торжеством над ложью и злом. Этика и эстетика смешиваются неразрывно. „Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! – зримо, неопровержимо для всех!” Тем самым Солженицын продолжает русскую традицию, это совершенно очевидно. Своей громкою славой русская литература девятнадцатого века обязана преобладанию этического начала, которое, перекрывая специфически русское, придало ей всеобщность, сопоставимую, по мнению Джорджа Стейнера, с универсализмом античной Греции. Однако *Нобелевская лекция* озадачивает читателя, знакомого с современным искусством: призыв к этой всеобщности Красоты-Истины-Добра не нашел ни отзыва, ни отклика. Кажется, будто современное западное искусство живет на другой планете. Впрочем и сам Солженицын смог сослаться в своей *Лекции* лишь на одного западного „поручителя” – Альбера Камю. На Альбера Камю, агностика, который в 1957 году заявил в Стокгольме, что красота облегчает человеку бремя рабства, а иногда и полностью от него избавляет, и поставил перед писателем две задачи: „отказ от лжи и сопротивление гнету” (речь 19 декабря 1959). Солженицын принимает обе задачи без колебаний. Упорная сосредоточенность на реальности неотделима у Солженицына от поиска Истины, Красоты и Добра. В каждом крупном его произведении мы встречаемся с тонко рассчитанной архитектоникой (не следует забывать, что этот

IX, 23

IX, 22

архитектор — математик), увенчанной замком свода, от которого все исходит и к которому все сходится. К этой центральной точке ведет как сеть образов и символов, так и чрезвычайно плотная организация времени. По мере того, как произведение разворачивается, по мере того, как оно раскрывается автором, солженицынская архитектуроника обнаруживается все яснее. Даже *Архипелаг ГУЛаг*, хоть и написан в подполье, каждая часть — в другом „укривище” (и, стало быть, автор ни разу не смог перечислить всю вещь полностью), тоже стягивается к такому незримому узлу. Подзаголовок „художественное исследование” подчеркивает не только невозможность писать историю нашего времени методами классической историографии (документы недоступны, свидетели погибли, нередко — до последнего, все умышленно искажено), но и необходимость обращения к искусству: иного пути, чтобы включить бесчеловечное в человеческое, апокалиптическую реальность века сего в конечность нашего разумения, — нет. Благодаря чуду появления Солженицына жертвы Усть-Ижмы и Кенгира обрели своего Гомера, которого, как ни странно, нет у жертв Освенцима и Бухенвальда. Нет, потому что ни Давид Руссе, ни Эли Визель (при всей лаконичной красоте *Ночи*) не владеют тайною широты и художественного напряжения *Архипелага*. Только одному французскому писателю, Шварц-Барту, удалось в какой-то мере вложить слова в уста растоптанного мира молчания — мира лагерных жертв. Солженицын говорил о крайней внезапности, с какою рождались замыслы всех его произведений.<sup>1</sup> *Один день...* сверкнул в конце долгого каторжного дня, когда Солженицын тащил с напарником носилки. *Раковый корпус* возник вдруг, когда он шел по Ташкенту, направляясь в комендатуру МГБ. Потом план спит годами — и в какой-то миг просыпается, обогащенный, и тогда писание идет быстро. Солженицынский раствор схватывается мгновенно.

Это потому, что время у Солженицына предельно сконцентрировано. „Хронотоп” (если воспользоваться термином Михаила Бахтина) сжат до максимума: *Иван Денисович* — один день, *Круг первый* — три с половиной (как в *Божественной комедии*), первая часть *Ракового корпуса* — три,

вторая – два (с промежутком, необходимым для течения болезни), *Август Четырнадцатого* – десяток дней. Пространственное и временное сжатие, отмечаемое всеми, кто пишет о Солженицыне. Это сжатие, это замыкание человека в микрокосм камеры, лагеря, больничной палаты или Грюнфлиссского леса не только созданы опытом каторжника („концентрация” человеческого материала навязана „концентрационным” веком); это своего рода органическая потребность писателя Солженицына. Мастер „малых форм” (его стихотворения в прозе, его рассказы), он и в „большие формы”, требующие огромного охвата материала, перенес свою страсть все сжимать. Отсюда частота единиц повествования (коротких глав, малых лирических единиц) и скульптурность детали: микропсихология, в которой лица схвачены, как под увеличительным стеклом.

„Мне не уютно, если у меня просторно слишком”. Понятие „узла”, главенствующее в концепции большого исторического романа, над которым работает сейчас Солженицын, идет из математики: „В кривой истории, т. е. в смысле математическом кривая линия истории – есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки – как узлы – я их беру в большой плотности, т. е. даю десять, двадцать дней непрерывного повествования... И эти десять, двадцать дней я даю плотно, подробно, а потом между узлами – перерыв, и следующий узел”. Так, десять дней *Августа Четырнадцатого* занимают два тома, *Октябрь Шестнадцатого* – два тома, *Март Семнадцатого* – четыре тома. Лев Толстой, начав работать над романом о Петре Великом, тоже говорит об „узле жизни” (письмо Н. Страхову от 12 ноября 1872). Заметил ли это Солженицын?

Уплотнение времени стоит в очевидной связи с отсутствием интриги. Солженицын совсем не романист. Даже большие его произведения – это повести (как *Раковый корпус*, который и носит такой подзаголовок) или „повествование в отмеренных сроках” (*Красное колесо*). Психологической протяженности в них нет. Предыстория человека играет малую роль. Она раскрывается случайно – либо в доверительном рассказе (десятник Тюрин, бывший раскулаченный, в *Иване Денисовиче*<sup>2</sup>), либо в угрызениях совести

X, 516

X, 525



(шофер Поддуев), либо в кошмаре (Русанову), томимому жадной, чудится, будто одна из его жертв, которую он довел до самоубийства, показывает ему на какое-то корыто с водой, но это вода ее смерти – она утопилась).

Воображение его – скорее математическое, чем литературное. „Литература никогда не может охватить всего в жизни. Я приведу математический образ и поясню его: всякое произведение может стать пучком плоскостей. Этот пучок плоскостей проходит через одну точку. Эту точку выбираешь по пристрастию, по биографии, по лучшему знанию и т. д. Мне подсказала эту точку – раковую палату – моя болезнь. Мне пришлось всерьёз заняться онкологией, чтобы контролировать, как меня лечат. Но описывать территорию республики за пределами ракового корпуса я не чувствую необходимости. Всё отразить нельзя, а та часть целого, которая необходима, – она может быть изображена и через эту точку”.<sup>3</sup>

Такое построение у Солженицына основное. Произведение разом и **точечно** (во времени-пространстве) и многомерно. „Узловые точки”, через которые проходят бесчисленные плоскости, даны ему жизненным опытом или историческими разысканиями: это день заключенного, день раковой палаты, десять дней поражения. Тянет сказать, что основное построение у Солженицына – новеллистическое: новелла – такой литературный жанр, в котором все собрано вокруг одного события, краткого и много раскрывающего. Но солженицынским „новеллам” не достаёт той эффектности события, которую мы находим у Мериме, Чехова или Куприна; и даже когда происшествие драматично (*Матренин двор*), оно не разрабатывается драматическим образом.

Мы увидим в другой главе, что все разнообразие и формальное богатство письма у Солженицына поставлено на службу именно этому математическому построению: как только узловая точка избрана, все усилия направляются на то, чтобы показать ее со всех сторон сразу; письмо и даже графическая организация страницы должны обеспечить многомерное восприятие реальностей, пересекающих эту точку. Солженицын заявил, что никогда не выжил бы в лагере, если бы не математика, – она его спасла.<sup>4</sup> Он имел



В Цюрихе на пресс-конференции 16-го ноября 1974 г.

в виду свое пребывание на шарашке в Марфино, но мы можем прибавить, что он никогда не стал бы писателем, если бы не был математиком. Сам метод его работы с картотекой, организующейся вокруг избранных „точек“, — метод ученого. Ученому принадлежит и его отказ говорить о себе, ошутимый на всем протяжении его писательской карьеры: во-первых, — в отказах от интервью, в отвращении ко всякой доверительности, а в более общей форме — в подчиненности „я“, в отдаче первенства отношениям социальным, межличностным, где „я“ существует лишь применительно к „другому“. Солженицынский человек всегда дан в известной ситуации, в каком-то положении. О нем можно сказать словами Сартра из *Что такое литература?*: „Поскольку мы были поставлены в некое положение, единственный вид романа, который мы могли задумать, был роман положений, без внутренних рассказчиков, без всезнающих свидетелей; одним словом, если мы хотели поведать о своей эпохе, нам следовало перевести романную технику с рельс ньютоновой механики на рельсы общей относительности... показать создания, чья реальность была бы перепутанным и противоречивым сплетением оценок, которые каждое из них выносит обо всех прочих“. Впрочем и не в одном этом плане солженицынский роман наводит на мысль о технике *Путей свободы*. Равным образом, Солженицын заимствует свою технику монтажа документов и глав-экранов у Дос Пассоса (1919), хотя и „перевертывает“ ее: „Дос Пассос придумал вот эти газетные монтажи, они у него имеют такую функциональную роль: он хочет подать бессвязность газетного потока, не имеющего никакого реального отношения к жизни. Что истинная жизнь в газетном потоке не отражается, у него такая функция монтажа. А у меня — противоположная, это благодаря особенностям русской жизни. На Западе может так быть, что поток газетный не увлекает за собой жизнь или не отражает ее. Благодаря обилию и свободе прессы. В истории раннего Советского Союза, да и позднего, газеты имели совершенно другое значение. Наши газеты были пулеметными очередями, фразы наших газет расстреливали и делали событие”.<sup>5</sup> В своих „полифонических“ романах Солженицын старается заменить старинное понятие главного героя поня-

тием встречи, столкновения множества героев, ни один из которых не обладает никакими преимуществами против другого. Каждый персонаж, говорил он Павелу Личко, становится центральным, как только вступает в поле действия. Понятие „полифонический роман” введено Бахтиным, который считает полифоничность специфической особенностью романов Достоевского. Я не хочу сказать, что солженицынские персонажи обладают полной „свободой”, которую Бахтин приписывает персонажам Достоевского. К тому же у Солженицына нет и метафизической контрверзы pro et contra. Полифонично не столько слово, сколько целостное восприятие. Каждый из персонажей глядит на всех остальных и цедит сквозь зубы свой внутренний монолог, обращенный к ним. Лучший пример этому — палата *Ракового корпуса*, девять больных, которые разглядывают друг друга, награждают — про себя — друг друга кличками, плетут сложную сеть взаимоотношений, в которой соседствуют бывший ээк и бывший охранник, мальчик Дема и старик Мурсалимов, робкий немец Федерату и надменный, полный презрения аппаратчик Русанов. Но и шарашка в Марфино, и лагерь Ивана Денисовича, и школа в рассказе *Для пользы дела* — это тоже „узловые точки”, через которые проходит множество „персонажей-плоскостей”. В некотором смысле традиционный **рассказчик** заменен здесь слушателем, который чутко ловит каждый шопот, каждое бормотание... Или, скорее, не внешний голос здесь улавливается, а внутренняя речь каждого. Мы скользим от одной внутренней речи к другой, точнее — от одного восприятия к другому, от одного скрытого экрана к следующему. Главное здесь — взгляд. Можно назвать десятки сцен с таким скольжением от одного взгляда к другому, где известное поведение — в том виде, как оно воспринимается извне, — передано с детальностью энтомологического описания. Вот Костоглотов пристально смотрит на Шулубина: „Как Шулубин упорно молча на всех смотрел, так и Костоглотов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно близко и хорошо. Кто мог быть этот человек? с таким нерядовым лицом?... Не глаза, а всю голову Шулубин повернул на Костоглотову. Ещё посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть, странно как-то обвёл круго-

IV, 307-8 образно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал...”

В *Круге первом* самый удивительный поединок взглядов тот, в котором сходятся Сологдин, только что уничтоживший свой проект абсолютного шифратора, и полковник Яконов, чья карьера целиком зависит от этого проекта. „Я уничтожу тебя!” – налились глаза полковника. – „Хомутай третий срок!” – кричали глаза арестанта”. Говорят глаза, воспринимают слова экраны сетчатки: „Инженер-инженер! Как ты мог?!” – пытал взгляд полковника. Но и глаза Сологдина слепили блеском: „Арестант-арестант! Ты всё забыл!” Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим самого себя, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться”.

Слово обманывает, камуфлирует, лукавит; взгляд раскрывает самую суть человека. Стыки в солженицынском повествовании – это поединки взглядов или взаимные их приобщения: голубой кружок с черною дырочкой посредине, а там, за нею, – нечаянный мир, единственный, неповторимый.

„Ястребиные глаза лагерника” научаются все замечать и все решать в единый миг, „проскальзывать вмиг по разложенным вещам” в микрокосмосе камеры, но также – и угадывать, кто прячется за черною дырочкой каждого зрачка: предатель? трус? или же товарищ? Особая симпатия, которую питает Солженицын к „военной косточке”, объясняется тою плотностью, какую обретает время в боевых действиях: минуты, мгновения даже – и решение принято, и человек всего себя, до конца, вложил в поступок, который может спасти, а может и погубить, и становление человека бьет из самых недр его существа. Так, „на току”, где „гигантские цепи вымолачивают зёрнышки душ”, встречаются глаза полковника Воротынцева и солдата Благодарева: „В беззвучном грохоте, от всего мира отъединенные, только двое они, одни на всей Земле живые, смотрели друг на друга человеческим, последним, может быть, взглядом”.

XI, 262 Видеть и – еще того более – знать, что тебя видят! Все большие произведения стягиваются к встречам взглядов, к „межмонадным” обменам, в которых рождаются и ценности, и самая жизнь. Время тогда сжимается, как для Сам-

сонова в тридцать первой главе *Августа*, когда он вдруг вспоминает фразу из немецкой хрестоматии *Es war die höchste Zeit...* — было „высшее время” действовать, изменить положение, „будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись”.

XI, 323

Само собой разумеется, что такое предельное уплотнение времени становится возможным лишь благодаря строгой и точной — час за часом, а иногда и минута за минутой — хронологии. Действие „локализуется” даже с помощью астрономических указаний. Так, в *Августе Четырнадцатого* звездное небо появляется во многих сценах и служит для ориентирования в ночных передвижениях. Ночь 13-го августа буквально утопает в бое космических часов созвездий. Солнечное затмение, упоминаемое в главе четвертой („Как военное испытание России — так солнечное затмение”<sup>6</sup>), находится в точном соответствии с астрономическим календарем. Одна француженка-математик, Люсьенн Феликс, показала, с помощью астрономического ежегодника, неукоснительную точность астрономических деталей у Солженицына в главе двадцать первой *Августа Четырнадцатого*.

Это крайнее уплотнение времени, достигающее предела в воинском жертвоприношении, противопоставлено камуфляжу, идеологическим речам, нескончаемым внутренним речам персонажей, которые хитрят со временем, накапливая сведения для будущих доносов, лелея планы нескорой мести или неторопливых захватов. Таковы русановские бормотания сквозь зубы в *Раковом корнусе*, долгий монолог Сталина в его кремлевской комнатке с наглухо зашторенным окном (*В круге первом*) или еще язвительный внутренний монолог Ленина, придирчиво оглядывающего своих соратников за столом в ресторане Штюссигоф в Цюрихе. Надо заметить, что солженицынский Ленин — персонаж удивительно двусмысленный, как бы шарнирный в художественной системе Солженицына. Педантичный и колючий идеолог, своего рода педагог от революции, ожесточенный вечными неудачами (вплоть до 1917), он ведет долгий монолог — плод внимательного, придирчивого чтения ленинских трудов, статей и писем, сведенных в *Полное собрание сочинений*, — и эта бесконечная внутренняя воркотня есть сама модель

идеологического действия, поведения. Но в то же самое время этот Ленин, который так и дрожит от нетерпения, которого все раздражают, такой сухой и едкий, — он какое-то подобие безработной пружины, он неуязвимый и несокрушимый дуэлянт, обладающий стремительным взглядом полководца: „Ленин пошёл на Скларца с пронизывающим косым взглядом (такой взгляд всегда пугал)”. Скларц „опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а всё остальное — как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо”.

ЛЦ, 208

Существует, считает Солженицын, как доброе, так и злое употребление человеческого времени. Кто тянет и откладывает, хитрит и лукавит, прячет свои способности или изъяны, тот употребляет время во зло. Кто хватается налету невидимый мяч случая и риска, тот добрый потребитель человеческого времени. Вот в *Августе Четырнадцатого* изворотливый и бездарный Ключев лицом к лицу с горячим Первушиным: „... Ключев... сразу не полюбил Первушина, с неусыпаемой выставленной отвагой в его дерзко выпуклых глазах”.

XI, 288

Между человеком и временем возможно идеальное соответствие: ни лихорадочной спешки, ни мешканья. Таков Иван Денисович на стене, при 27 градусах мороза, когда раствор замерзает, если не успеешь во-время положить кирпич: „Быстро — хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит...” Таков и генерал Нечволодов: „А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте, да шаткой, переключившей на несколько дорог”. Таков и урок, который извлекает Олег Костоглотов из своей встречи со старинной, азиатской частью Ташкента: „Усваивал Олег, вот и награда за неторопливость: никогда не рвись дальше, не посмотри в рядом”.

III, 74

XII, 41

IV, 460

Лучший критерий этого соответствия меж человеком и временем — удачная, хорошо сделанная работа. Творчество Солженицына все провешено моментами чистой радости, чистого освобождения души, даруемых трудом. На шарашке в *Круге первом* Сологдин берет на себя дополнительную физическую работу — пилит дрова по утрам. Занимается день — и „нерушимый покой” нисходит в его душу: „Глаза

сверкали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь вздымалась от полноты бытия”. Эта полнота противостоит дурной спешке „коммунистических обязательств” и роботов сталинского аппарата, в которых угодливая торопливость на глазах начальства смешана с циничным сибаритством, вступающим в права в тот самый миг, когда начальство отворачивается. Таким образом, почти в каждом произведении связь со временем, отношение к нему взвешены на весах человеческого труда.

I, 194

В хаосе истории, пущенной под откос, когда ни один принцип старинной права или старинной мудрости более не соблюдается (прежде говорили: „один свидетель – не свидетель”, теперь довольно одного доносчика, чтобы кому угодно скатиться в ад), в мире, где все слова, все человеческие связи извращены, люди вновь обретают полноту бытия в мимолетном соответствии со временем, мимолетном и неизменно жертвенном: в тяжком труде, в любви или в смерти.

День занимается, когда Сологдин испытывает острое наслаждение жизнью за пилюю дров. Солнце клонится к закату, когда Олег, в обществе медсестры Зои, вновь открывает для себя любовь. Творчество Солженицына насыщено всевозможными знаменами и знаками, музыкальными и световыми; ими отмечены миги полноты. „Молчали. Солнце проступило в полную ясность, и весь мир сразу повеселел и осветился”. Золото заката зажигает голубую скатерть – символ мира и покоя – и торжественно поет „мелодию узнавания”. Эпизод переливания крови, когда между Олегом и „Вегой” устанавливается поэтический контакт влюбленности, тоже обозначен игрою света и молчания: „Всё в комнате было как-то празднично, и это белесо-солнечное пятно на потолке особенно”. И снова: главное выражается взглядом (а кругом молчание и свет!), когда „глаза как будто теряют защитную цветную оболочку, и всю правду выбрызгивают без слов, не могут её удержать”. Французская исследовательница Жаклин де Пройар справедливо заметила, что Зоя и „Вега” – это Эрос в двух своих аспектах, чувственном и духовном. Женские портреты у Солженицына могут казаться обедненными, нескладными

IV, 166

IV, 316



даже, а иной раз и откровенно претенциозными. Правда французский писатель Владимир Волков вспоминает в своем письме ко мне: „Я помню удовольствие, которое я испытал, читая *В круге первом*. Я говорил себе: вот мужчина, который любит женщин!” Как бы то ни было, в произведениях Солженицына мы не встречаем ни великих любовников, ни демонической леди Макбет. Его общество — это общество мужчин. Женщина здесь — всего лишь воспоминание, или угрызение совести, или гостя, или игра в любовь. Любовь на шарашке — это любовь-калека. Свидания каторжников с оставшимися на воле женами — это мучительные испытания: срок заключения беспощаден к любви. А женщины чувственного типа у Солженицына — все сплошь кокетки или эгоистки, они и в счет не идут.

Его подлинные удачи — женщины, которых нет: Надя — жена Глеба, Агния — потерянная невеста Яконова. Или еще бессловесные страдальцы, которые проходят, словно тени: женщина, моющая лестницу в доме прокурора Макарыгина, санитарка Елизавета Анатольевна. Тайну женщины лучше всех выражает Агния. Это „Изольда с алмазною душой”. Греческое ее имя обозначает чистоту, и она символизирует любовь, отрекающуюся от плоти. Воспоминание о ней всплывает в измученном сознании Яконова, когда „бездна зовет назад”. Агния презирает плотскую любовь, „только и способную отвращать мужчину от великих поступков”. В замечательно написанной сцене она приводит жениха на паперть церкви Никиты Мученика, что стоит над крутым берегом Москва-реки. То же заходящее солнце, которое у Достоевского сопутствует идее человеческого счастья, „золотого века”, ласкает церковь, в которой звучит канон Богородице. „Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой поэт, полонённый монастырем; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина”. Эрос связан с красотой мира, со священной красотой, обласканной светом дня, который всегда есть „первый день Творения”.

Но еще прочнее, чем с Эросом, связаны солженицынские герои с Танатосом, со Смертью. Самоотречение, которое, по

Агнии, сопричастно любви, достигает полноты в приятии собственной смерти, в пересечении той черты, за которую биологический эгоизм уже не властен над нами. Каторжник, неизлечимый больной, солдат под вражеским огнем – герой Солженицына всегда находится в ситуации, которая подводит его к этой черте и ставит перед выбором: переступить или отступить. Образцовую в этом отношении ситуацию создает война. Воин отказывается от самосохранения и ведет жизнь, полную напряжения, „со смертью впритирку”. И каторжники Экибастуза – тоже: они „рвут цепи наощупь” (*Архипелаг*, Часть пятая, глава 11), они сразу, в восторге отчаяния сбрасывают те жалкие путы, которые их опутывают еще, – будь то срок, подходящий к концу (лучше бы не ввязываться в восстание), будь то далекая семья, с которой уже не свидеться, будь то просто-напросто жизнь, которая даже в унижении, в муках, в голоде все-таки льнет к человеческой душе. Вдруг, безрассудно и незримо, ударила струя отречения, и это почти чудо в заморенных голодом существах. Ла Бозси, которого Солженицын читал на шарашке, в *Рассуждении о добровольном рабстве* утверждает, что „первая причина, по которой человек рабствует добровольно, есть то обстоятельство, что он рожден рабом и воспитывается как раб”. Восставшие в Экибастузе были рабами до того момента, когда, загадочным образом, вдруг забила струя их свободы.

Этот прорыв, это „восхождение” и есть замок свода в исполинской „саге о темницах”, которая носит название *Архипелаг ГУЛаг*. Летопись советской каторги, одиссея различных и бесчисленных „потоков” ссыльных, энциклопедия лагерного мира, учебник этнографии для изучения „нации зэков” – *Архипелаг* мог бы стать только мемориалом, как „Яд Вашем” в Израиле, где выстроились в ряды два миллиона имен. И, в каком-то смысле, *Архипелаг* – действительно, памятник числу, числу-отходу, -отбросу, как выразился Соллер, сплетение бессмыслицы, слоаса *maxima*, где надрывается и гибнет целое человечество под бирками и номерами. *Архипелаг* мог бы стать также литературной свалкой бессмыслицы. Ибо о чем ином, как не о бессмыслице может идти речь, если религия общественного счастья устра-

ивает, учреждает подполье ужаса, страдания, подполье для недочеловечества, где свирепствуют насилие, хитрость, бесстыдство, разврат... Это она, бессмыслица, гонит Русанова ползком по бетонной канаве его же собственного страха. Это она царит самовластно в мучительных *Колымских рассказах* Варлама Шаламова:<sup>7</sup> люди-отбросы, люди-шакалы, мир колючей проволоки и пистолетов-пулеметов... детский рисунок, который рассказчик находит в помойке, где он роется, вместе с другими, в поисках объедков, рисунок, изображающий сказочного героя Ивана-царевича в виде охранника с автоматом на фоне лагеря... весь мир превратился в ГУЛаг, и жалкие остатки памяти (вспоминать для лагерных теней – усилие непомерное, неподъемное) опутаны колючей проволокой... Шаламов не знает иной границы, кроме той, за которую человек – не человек уж более: „Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт – целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни – это не самое страшное. Самое страшное – это когда это самое дно жизни человек начинает – навсегда – чувствовать в своей собственной...”

VI, 579

Знает эту границу и *Архипелаг* – приближается к ней, пытается описать моральное растление, „скотство” (впрочем Солженицын отказывается от этого слова: ни один „скот” во всем творении не способен вести себя так, как человек), однако же – оговаривается: „Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда”. В этой второй главе Части четвертой ощущается постоянный диалог с Шаламовым: многие растлеваются, но иные держатся. Каким чудом? Конечно, душа опускается, покрывается „ларшой”, и к тому же Солженицын сам признается, что самого худшего он не изведal. „Получилась у меня только щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни”. Щель – эта „сумма” в 1600 страниц? эти семь частей, воскрешающие миллионы мертвых? Солженицын знает, что башни как раз-то и нет: было сделано все, чтобы скрыть, изгладить, не ведать... ГУЛаг выстроен на песке пропаганды.

VI, 1

*Архипелаг* мог бы стать **ночью** – как свидетельство Эли Визеля, ребенком вывезенного в Освенцим. В Судный День некоторые евреи, у которых еще хватает на это мужества, постятся, как того требует Закон. „Я не постился. Прежде всего – чтобы угодить отцу, который запретил мне поститься. Далее – в этом не было уже никакого смысла. Я уже более не принимал молчания Бога. Поглощая свою миску супа, я сам видел в этом акт бунта, протеста против Него” (Эли Визель, *Ночь*). Молчание Бога – здесь откровение, экзистенциальное, биологическое. Бог молчит, Бог умер, „Бог любви, кротости и утешения” исчез навсегда. И тот же горький и бунтовской вывод у католички Женевьевы Де Голль в статье о Равенсбрюке: „Пусть молятся те, у кого есть на то досуг, в тишине. А у меня уши и рот забиты криком отчаяния. Говорить, что это всего лишь испытание? Пусть говорят те, кто с удобством опускается на колени в своих церквях и храмах. Они не видели глаз затравленного зверя. **На отчаяние не откликаются славословиями.**

Опыт Солженицына приводит его к открытию противоположного свойства. Лагерь становится „прорывом к небесам”. Человек-раб распрямляется, завоевывает внутреннюю свободу, ни с чем не сравнимую. Затем это открытие „близкого” – того, кто рядом, открытие христианское, потому что „близкий” становится „ближним”. Иссохшая душа орошается страданием. Таинство стоящего перед человеком выбора меж Добром и Злом являет себя на гнилой тюремной подстилке. Примеры подлинной святости выходят на свет. Зэк, невинный, но „сопричтенный злодеями”, подобно Христу, в лагере может стать святым. Недаром первая глава Части четвертой завершается своего рода осанной: „Благословение тебе, тюрьма...”

Сияние Красоты достигает и *Архипелага*. Она сияет в баптистах, крепких верою, в поэте Силине, который умиляется, наклоняясь над „редкою травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей зоне: – Как прекрасна земная трава! Но даже её отдал Творец в подстилку человеку. Значит, насколько же прекраснее должны быть мы!” Уже в *Одном дне...* Алешка-баптист формулировал идею Солженицына, заимствованную у Святого Павла: „Ты радуйся, что

ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать!” И, читая рассказ, ощущаешь, что Иван Денисович очень близок к Алешке, что в существовании его, тяжком, но честном, есть своя красота, что свет его души льется почти беспрепятственно и что его „малая вера” плевелами не заросла...

„Распрямленный” таким образом человек у Солженицына улавливает, в иные мгновения, отблески изначальной красоты вселенной. В этом ему помогает тюрьма, потому что она очищает душу, избавляет ее от „дурного приобретения”, от всякого следа „хрематистики”, как сказал бы Аристотель.<sup>8</sup> В самом деле, Алешка показывает Ивану Денисовичу путь этого полного избавления, в конце которого человек не желает уже ничего, кроме „хлеба насущного” из молитвы Господней. Тюремная аскеза помогает солженицынскому человеку достигнуть **самоограничения**. Говорят, что у Солженицына обнаруживается известная слабость к тюремному заточению, — это верно. Но правильнее было бы говорить об этике заточения. Находясь в ситуации исторгнутости из повседневного существования, человек легче вырывает плевелы из своей души. Но нужно отречься от них добровольно. Только тогда переступишь порог пещеры и узришь платоновскую триаду Добра, Истины, Красоты. Так, Олег Костоготов, внутренне приняв сменяющие друг друга испытания — каторгу, рак, а потом и отказ от любви, бродит по старому городу в Ташкенте, и сперва ему открывается гармония между человеком и его жилищем (старые узбекские дома), затем — красота животного (антилопа в зоопарке, „чудо духовности”, подобие библейской лани), и в особенности — дерево-цветок, урюк: „Он к самым перилам подошел и отсюда, сверху, смотрел, смотрел на сквозистое розовое чудо. Он дарил его себе — на день творения... Чудо было задумано — и чудо нашлось. В *Круге первом* центральный символ — рыцари Грааля. Узники марфинской шараги, освобожденные тюрьмой, избавленные от всех связей и владений, которыми нас нагружает и награждает обыденная жизнь, плывут, как некий мистический корабль, по безбрежному океану. В день „протестантского Рождества” они, сойдясь за „сократическим пиром”, говорят и высказываются вольно на все темы. Их застолье противопоставлено

„ложному пиру” у прокурора Макарыгина. Тут – абсолютная бедность и абсолютная воля, там – изобилие, но сопряженное со страхом и „рабством”. Центральная глава носит название „Замок святого Грааля”; это таинственный центр произведения, средоточие, сообщающее ему его смысл. На шараге работает художник Кондрашев: он поставляет начальству льстивые портреты и патриотические полотна. Но оторванный от современного искусства и даже от природы – намордниками на окнах, – он, в одиночестве, помимо заказных работ, ведет поиск Невидимого и Совершенного. Придя проститься с художником, Нержин рассматривает последнюю его картину – „Осенний ручей”. Кондрашев – художник-„шекспирист” русской природы. Ничто не бесит его так, как Русь ласковая и пресная, введенная в моду Левитаном в прошлом веке. „Но не тут было главное, а – в глубине: густую грудь леса стояли оливково-чёрные ели, в первом же ряду их беззащитно светилась единственная берёза. От её жёлтого нежного огня ещё мрачней и сплочённей стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо”. Этот копьевидный лес на фоне медвяного неба – это страстно искомое Кондрашевым равновесие между силой и светом, это синтез („понимание, успокоение, всесоединение”), которого он ищет и в стылой, спокойной воде этого „осеннего ручья” и в „изувеченном дубе”, реминисценции из *Войны и мира*, и в самой тайной из своих картин: Парсифаль впервые видит замок святого Грааля. Рыцарь поднимается по крутой тропе над бездной, по „клиновидной щели между двумя сдвинутыми горными обрывами” с „крайними деревьями леса – дремучего, первозданного”. Верхняя часть полотна залита оранжевым светом, „исходящим то ли от Солнца, то ли от чего-то ещё чище Солнца, скрытого от нас замком”. Этот замок, смутно видимый рыцарем, – „Образ Совершенства”.

Солженицынские „рыцари” должны биться в одиночку, в одиночку выбирать свою дорогу на символическом распутии (как в русском народном эпосе об Илье Муромце). Их „подвиг” – в борьбе с порабощением и растлением души – требует от них полного отречения, какого в галантные средние века требовала от своего рыцаря дама. Но, вы-

I, 366

I, 184

держав испытание, искус, они достигают того перевала, с которого виден „Святой Грааль”, иначе говоря – Совершенство, Божество Плотина. Достигнув перевала, рыцарь открывает сияние Вечности, как Шулубин в канун смерти („что во мне – это не всё я”), то есть своего рода образную Трансцендентность. Восхождение на такую высоту – удел мужественных и готовых на жертвы, оно выступает завершением пути, который скорее победа над самим собой, нежели поиск Грааля. Но тогда Существо, которое казалось столь безнадежно разодранным, испорченным, разлившимся, является взору в некоем Всеединстве, где все чистота: заходящее Солнце, первобытный лес. Агния любит уходить одна в чащу леса. „Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса”. Поэзия новорожденного мира – это также поэзия *Крохоток* и *Августа Четырнадцатого*. В *Августе* по незапамятно древним Мазурским лесам бредут уцелевшие от военной катастрофы: Дон Кихот – Воротынец в сопровождении своего верного Санчо Пансы – Благодарева, да еще остатки Дорогобужского полка, крестьяне из разных деревень, которые где-то в Пруссии, на просеке, составляют, по подобию пращуров, круг общинной Руси, Руси допетровской, христианской, который, в полную силу легких, поет чин погребения. Полковника Кабанова погребают в нерукотворном кургане, в окружении тишины, и почетный караул несут сосны. И этот миг чистоты и народного **простодушия**, обретенных вновь, – вершина романа, в некотором роде апофеоз древней, богатырской Руси. „Раннее солнце уже теплило стволы – и до позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда. Должны были белки любить это место, в весну – тянуться сюда зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным длинным склоном в просторную же впадину, и туда по чистым иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся”.

XII, 25

Почти что детский Эдем, где люди и животные снова обретают взаимное согласие, гармонию стародавних времен, гармонию рая, гармонию народных сказок и преданий. Лес незапамятный, принадлежащий не какому-нибудь народу, но Богу, лес невинный – в противоположность коварной боло-



Деталь фрески Андрея Рублева  
в Успенском соборе во Владимире (1408)  
„С тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица и уже тех  
бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, не  
себялюбивых выражений уже никогда не найдет объектив”.



тистой чашобе, в которой гибнет армия Самсонова: „Какие-то места пошли здесь заклятые: покинули они сухой высокий красный бор и ехали местностью низменной, закустаренной, вязкими песчаными просёлками и через многие неожиданные ручьи и канавы, канавы, перебирались только вброд”. Речь идет о дурном лабиринте, налитом нечистой водой, где бродят обезумевшие кобылы, где раздуваются брюха павших лошадей и чернеют скрюченные трупы бойцов.

Космическое чувство Творения, изначально прекрасного во всем, чувство той красоты, о которой говорит Книга Бытия, напитывает кульминационные эпизоды в любом произведении Солженицына. Мир – это, поистине, „нерукотворенный” образ. Зло объясняется грехопадением, то самое Зло, которое, как кажется при первом чтении, властвует в солженицынской вселенной безраздельно. Но Солженицын отклоняет всякое „истолкование” гностического или идеологического порядка: зло, он уверен, должно быть обозначено „персонально”, в каждом случае оно проистекает из личного падения человека. Если Русанов ползет по трубе угрызений совести, захлебываясь страхом, так это потому, что его **собственная** душа не выдержала, пала. Никакой „абсурд” Камю или Кафки не приходит у Солженицына на помощь Злу, разве что в самой малой мере; а ведь он, пожалуй, самый мощный художник Зла во всей современной литературе. Наконец, чувство искупления утверждает себя через посредство **совести**, этого подлинного мерила этики, о котором Солженицын говорит в ответе трем студентам.<sup>9</sup> Здесь, однако, платоновская концепция Солженицына начинает хромать. Христа, по всей видимости, в его творчестве нет. Что это? „Зияние”, которое мы обнаруживаем у гностиков или же целомудренная стыдливость, столь очевидная у великих христиан, анафематствующих современность, таких, как Бернанос или Блуа?.. Спасение у Солженицына – это, по-видимому, запас Добра, который хранится в каждой душе. При рождении, говорит он, человек наделяется некоей Сущностью: это ядро человека, его „я”. Никакие внешние условия не способны эту Сущность предопределить. Кроме того, каждый несет в себе Образ Совершенства, который

иногда затмевается, но иногда вдруг просияет с необычайной силой. Мысли эти подтверждает „Молитва” — текст мало известный.<sup>10</sup>

### МОЛИТВА

*Как легко мне жить с Тобой, Господи!*

*Как легко мне верить в Тебя!*

*Когда расступается в недоумении или сникает ум мой,*

*Когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера*

*И не знают, что надо делать завтра, —*

*Ты снисылаешь мне ясную уверенность,*

*Что Ты есть и что Ты позаботишься,*

*Чтобы не все пути добра были закрыты.*

*На хребте славы земной я с удивлением оглядываюсь*

*На тот путь через безнадежность — сюда,*

*Откуда и я мог послать*

*Человечеству отблеск лучей Твоих.*

*И сколько надо будет, чтобы я их ещё отразил, — Ты дашь мне.*

*А сколько не успею — значит, Ты определил это другим.<sup>11</sup>*

Нельзя не отметить беспощадность суждения Солженицына об уголовниках в лагере: жестокие и алчные, они, кажется, навеки погрязли во зле. Ни одного примера искупления в этом случае нам не дано. Конечно, это определяется также и эпохой. Сталинские лагеря умышленно подстраивали внутреннюю борьбу не на живот, а на смерть. В более позднее время эта жестокость „урок” к „политикам” не только уменьшилась, но даже началось какое-то братание, о котором нам рассказывают книги Синявского и Эдуарда Кузнецова.

В пьесе *Свеча на ветру*, где поставлены многие из проблем *Ракового корпуса*, только в другой среде — научной и англосаксонской, — вывод такой же пессимистический: внутренний свет не угасает только в существах искалеченных, страдающих — в Альде, которую биокибернетика не смогла превратить в робота, в старой и нищей тете Христине, в смертельно больном Тербольме... „Как в природе нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идет растление без восхождения. Они — рядом”. Эти мучительные сомнения Солженицына, эти страшные и грозные доводы, которыми

XI, 453

он пытается опровергнуть самого себя, составляют, впрочем, силу его творчества. Мгновения светлого, радостного созерцания — это, в целом, редкие „пики” в жизни человека. Чтобы подняться на них, нужна энергия, та внутренняя энергия, которая, в какой-то миг, изменяет генералу Самсонову: „Он хотел только хорошего, а совершилось — крайне худо, некуда хуже”. Только богатыри достигают „места светлого и покойного”, о котором поет чин погребения. Замок свода небес? Да, но это не значит, что и здесь, внизу, на распутьях, не надо вести битву самую напряженную. Ибо „растление” подстерегает человека.

*Нобелевская лекция* дает нам набросок философской системы писателя. Солженицын говорит в ней о назначении искусства. Исходя из платоновского принципа триединства Красоты, Истины, Добра, т. е. Совершенства, Солженицын задается вопросом об очевидных поражениях, которые терпят все три этих принципа: Зло часто побеждает Добро, и царства достаются нечестивым (говоря языком Блаженного Августина), ложь искажает и часто стирает Истину. Мир ГУЛага — еще в большей мере мир лжи, нежели Зла. Солженицын полагает, что в этих трех сферах — эстетической, эпистемологической и этической — человеку открыт **непосредственный** доступ к Совершенству. Доступ этот, однако, преграждает или даже наглухо закрывает свобода выбора, которой располагает человек, — свобода отвергнуть запас Добра ложью, самораствлением. Но искусству, как видится, дана при этом высшая эсхатологическая миссия. Напомнив, что Достоевский (в *Идиоте*) „загадочно обронил однажды: „Мир спасет красота”, Солженицын утверждает за искусством ценность непреходящую и действенную: ложь и насилие могут исказить непосредственное восприятие Истины и Добра, заложенное в каждом, может случиться временное и частное „затмение” справедливости, но Красота затмений не знает. Она рождается от дара Божиего, которым наделена личность, она бывает и переменчива, и капризна. Но произведение лживое и продажное дара красоты иметь не может: „Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа”. Красота, искусство оказывается основным критерием. Искусство не может лгать, не может

IX, 11



← В июле 1969 г. на русском севере, у церкви Арсения-Праведника.  
„Не легче было и при зарождении христианства, однако оно выстояло  
и расцвело. И указало путь: **жертву**”.

служить насилию. Иными словами, Солженицын превращает искусство в главное орудие, которым Бог учредит на земле Царство Второго пришествия. Совершенно очевидно, что эта эсхатологическая миссия, приписываемая искусству (и подтвержденная, в глазах автора, действительностью *Архипелага ГУЛаг*), стоит в одном ряду с другими пророческими настроениями русской литературы – с провидениями Гоголя, Достоевского, Толстого. Толстой в статье *Что такое искусство?* диаметрально противоположен Солженицыну: с запальчивостью доказывает он, что красота не совпадает с Добром, что часто она вредна, лжива, ведёт страстью. Тем не менее истинное искусство, безличное и народное, к которому взывает Толстой, несет ту же пророческую и эсхатологическую миссию, что у Солженицына. Эсхатологическая мечта живет в душе Солженицына, это несомненно. Это она ключ свода его соборов. Призыв к отказу от лжи связан у него с этой миссией искусства. Существует **Красота** истории (красота мучеников и святых), неотделимая как от красоты пророческого искусства, так и от Добра. Существует также и красота народов, но она обнаруживается лишь тогда, если народы не таят от самих себя свое назначение, свой истинный долг (для России это „самоограничение”, к которому призывает ее прекрасная и суровая земля). Как только затмевается одна из трех составляющих платоновского триединства, темнеют и две другие. *Август Четырнадцатого*, в центре которого стоит благородная и благостная фигура генерала Самсонова, показывает это в применении к старой России. Широкий лоб и величественная осанка этого „допетровского” человека сияют Красотой и Добром. Но Истина ему не достает. Не то, чтобы он лгал, но самые слова Истины утрачены им. Он разучился говорить со своими людьми. Вместе с ним сама старая Россия оказывается неспособной к истинной речи: „Нет, слово – утеряно было, не находилось”.

Эти солженицынские мысли близки к концепции русского философа Владимира Соловьева. Для Соловьева искусство – предвосхищение совершенной гармонии и совершенной Красоты, которые будут царить, когда, со Вторым пришествием, история завершится и установится

органическое единство между людьми и природой. Искусство — это „всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира” (*Общий смысл искусства*, 1890). Этот примат искусства (аналогичный примату света в материальном мире) опрокидывает гегелевский порядок вещей, в котором прекрасно то, что принадлежит истории, т. е. воплощает разумное и всеобщее в их диалектическом развитии. Соловьев восстанавливает старинную связь искусства с религией, которую — сознательно или бессознательно — вернула к жизни русская литература девятнадцатого века.

Так эстетика Солженицына приводит к эсхатологии. Бунтующий дух по преимуществу, гениальный обличитель, противопоставляющий „извращенной” реальности нашего времени прометеевское „нет”, Солженицын несет в себе ту утопию Царства примирения, которая уже два тысячелетия вдохновляет людей. В мятеже и в жертвенности, в отказе и в согласии, щепка в водовороте истории и пророк мета-истории Примирения, Солженицын есть некое равновесие (готовое вот-вот рухнуть и постоянно обретаемое вновь) между Борьбою текущей минуты и Неизменностью божественного Совершенства. Его стихотворения в прозе дают увидеть эту битву между двумя полюсами его личности. Вот *Отражение в воде*. Поэт глядит на горный поток: „Отраженья неверны, неотчётливы, непонятны. Лишь когда поток через реки и реки доходит до спокойного широкого устья, или в заводи остановившейся, или в озерке, где вода не продрогнет, — лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое пёрышко тонкого облака, и налитую голубую глубь неба. Так и ты, так и я. Если до сих пор всё никак не увидим, всё никак не отразим бессмертную чеканную истину, — не потому ли, значит, что ещё движемся куда-то? Ещё живём?..”

III, 170

Отчетливая „читаемость” реальности всегда выходит на поверхность в таком озерке красоты. Бешеные и противоборствующие силы реальности всегда уравниваются в каком-то ключе свода. Поток истории проходит через эти озера созерцания. В рассказе *Как жаль* этот миг полноты

и созерцания приведен скромной каплей воды на одном из московских бульваров. В „малой” ли форме стихотворения в прозе, в „большой” ли – „повествования в отмеренных сроках” (тысячи страниц *Красного колеса*), любое произведение Солженицына скрывает в себе этот тайный порядок. Космология эта не так открыта взгляду, как дантова, но вдохновляется тою же самой неоплатоновской гармонией. Напомню в заключение терцину из *Божественной комедии*:

Но предо мной видение предстало  
И к созерцанию так меня влекло,  
Что речь забылась и не прозвучала.

(Пер. М. Лозинского)

Солженицын тоже укрощает, упорядочивает необъятный поток истории, чтобы привести нас к этим озерам света, где „прочитывается” строй всеединства.





## БОРЕЦ

Мы уже знаем, что визионерской фантазии Солженицына приходится сталкиваться с замутненностью реальности. И тогда он становится борцом, яростным сатириком, гениальным тактиком. Все начинается с бунта: „Он шел под бичом хозяина. Но вот он оборачивается — лицом к опасности” (Камю). Сперва глухой бунт против извращения всех смыслов, навязываемого идеологией. Нержин в *Круге первом* слышит „немой набат” истории — во время процесса „промпартии”, одного из самых ранних великих псевдосудилищ, еще на заре 30-х годов. Этот „немой набат” Солженицын заимствует у Виктора Гюго, из *Девяносто третьего года*: маркиз де Лантенак, один из трех главных героев романа, видит, как раскачивается набатный колокол, но не слышит его рева, уносимого бурей. Возможно, что и самое трехфигурную схему *Круга первого* Солженицын заимствовал у того же Гюго, прославляющего три чистые и неукротимые души, разведенные политическим выбором, но соединяемые вновь честью и смертью. В каком-то смысле Сологдин — это маркиз де Лантенак, душа вандейского бунта, Рубин — Симурдэн, душа плебейской борьбы, а Нержин — Говэн, связанный и с тем и с другим, приемный сын одного, доверенный помощник другого. Как бы то ни было, но и образ „немого набата”, и своеобразная поэтика борьбы взяты из *Девяносто третьего года*. \*

„Так каким-то странным слухом с отрочества слышал Нержин этот немой набат — все живые звоны, стоны, крики, клики, вопли погибающих, отнесённые постоянным ветром от людских ушей”.

1, 283

Нержин понимает инстинктивно, что власть лжет. Это всего еще только замешательство перед обманною речью. „И одиночество ознобило его — взрослые мужчины, толпившиеся рядом, не понимали такой простой вещи!” Это замешательство, это одиночество не проходят бесследно ни для кого. Клара Макарьгина встречает враждебный взгляд заключенной, которая моет лестницу в доме МГБ,

1, 284

в том доме, где Кларин отец, прокурор, занимает роскошную квартиру. И эта единственная встреча превращается в навязчивый призрак, который она старательно обходит всякий раз, как подымается или спускается по той лестнице. Не всегда замешательство вырастает в бунт. Оно может и истлеть внутри, опустошая человека, как опустошило Шулубина, этого необычайного „филина”-молчуна из второй части *Ракового корпуса*. Под конец жизни этот „филин” решается, наконец, признаться Олегу: „Вас арестовывали, а нас на собрания загоняли: **прорабатывать** вас. Вас казнили — а нас заставляли стоя хлопать оглашённым приговорам. Да не хлопать, а — требовать расстрела, т р е б о в а т ь!” Безумный смех Шулубина сопровождает его признание в постепенной деградации. Пламенный большевик в 1918, травивший эсеров, рубавший крестьян-повстанцев, он становится блестящим преподавателем Тимирязевской академии, а потом начинает скатываться по наклонной плоскости: он не лжет по собственной воле, но и не восстает против лжи. Хотя он почти не раскрывает рта, Русанов учивает в нем врага: „Не уважал Павел Николаевич таких людей, которые в жизни идут не вверх, а вниз”. И вот он уже ассистент, вот библиотекарь — „суёт в печку генетику— левую эстетику! этику! кибернетику! арифметику!..” „Зачем нам костры на улицах, излишний этот драматизм? Мы — в тихом уголке, мы — в печечку, от печечки тепло!..” Ложь ранила Шулубина и тысячи других, но они не взбунтовались. Рубин, честный марксист шарашки, ощутил эту рану, когда молодым комсомольцем „коллективизировал” украинские села, доведенные до чудовищного голода в 1932. Как в пушкинском *Пире во время чумы*, возчик смерти проезжал каждое утро и выкликал сначала: „ — Покойники е? Выносьтэ. — А скоро и так: — Э? Чи тут е живы?” Это воспоминание „сейчас вжато в голову. Врезано калёной печатью. Жжет. И чудится иногда: раны тебе — за это! Тюрма тебе — за это! Болезни тебе — за это!”

Солженицын упорно спрашивает себя: откуда эта пассивность его сограждан? откуда его собственная пассивность? Проверка собственной совести — одна из главных слагающих *Архипелага*. Но самое примечательное — то, что, несмотря на



Офицер Солженицын

„Хорошо помню, что именно с офицерского училища я испытал радость опрощения: быть военным человеком и не задумываться”.

V, 162 два-три поклона в сторону Кестлера, Солженицын не дает никакой веры главному тезису *Сумерек в полдень*. Диалектика революции, приводящая „под знаменем свободы к лагерям рабов” (это слова Камю), кажется ему ложью. Он объясняет проще сплетение обстоятельств, приводящее Бухарина к низкому отступничеству. Вглядываясь в самого себя, в свое офицерское прошлое, Солженицын вздыхает: „Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье”. Ибо власть развращает: „Власть — это яд, известно тысячелетия! Да не приобрел бы никто и никогда материальной власти над другими!” Доступ к привилегиям портит человека с поразительной быстротой. Юный лейтенант Солженицын, получив, после суровой выучки в офицерской школе, погоны, круто разделяется с отцами семейства и даже с дедами, которые обязаны выполнять его приказы и обращаться к нему на „вы”. „Вот что с человеком делают погоны! И куда те внушения бабушки перед иконкой! И — куда те пионерские грёзы о будущем святом Равенстве!” Солженицын отвергает категорически кестлеровскую казуистику комиссара и обвиняемого. Для него существует только порок — насилие, эгоизм, гордыня, расизм, классовая ненависть (та самая, которую проклинал Шулубин, пушкинский мельник-ворон). Раз угнездившись в человеке, порок разрастается. „Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтобы только не выпер наружу, — мы с е е м его, и он ещё тысячекратно взойдет в будущем”. Это применимо как к „Бухарчику”, игрушке неторопливого политического садизма Сталина, так и к миллионам „кроликов”, молча подставлявших затылок под пулю палача.

V, 163

V, 176

Клод Лефор объяснил, „почему Солженицын обходит презрительным молчанием словопрение прокурора и обвиняемого”. Солженицын приводит много примеров, когда коммунисты — жертвы сталинизма ровно ничего не изменяли в содержании своих дум и речей и только находили новое место для врага (например: враг засел в ГПУ).

Бунт начинается с „нет”. *Архипелаг* — не только мону-ментальная хроника насилия, но и мартиролог тех, кто сказал „нет”. С помощью 227 „соавторов”, чьих имен он не может пока открыть, Солженицын восстанавливает свидетельства

этих героев сопротивления, которые противопоставили свое „нет” всей махине уничтожения. От коммуниста Власова, „заведующего РайПО” (районное потребительское общество), „кооператора-самородка”, до тех, кого не было на „больших процессах” (раз их не было, стало быть, они отказались опорочить, испакостить себя), и, особенно до **святых**, чьи портреты набросаны в эпилоге Четвертой книги. Это люди, которые не дают сломить свою душу вместе с телом. Но, за этими исключениями, человеческая натура развивается не быстрее, чем геологические процессы... Страх, доносительство, порок прочно живут в человечестве, и мы находим у Солженицына целую антропологию порока, от „живых трупов” – сытых доносчиков до обезьяноподобных уголовников, чинящих зверское насилие в тюремных вагонах, на этапе. „Границы” человека „непостижимы” – как вверху, так и внизу...

Один из самых прекрасных бунтарей *Круга первого* – старый инженер Герасимович, который отталкивает приманку досрочного освобождения простым сарказмом: „– Это не по моей специальности, – пискнул он... – Я не ловец человек”.<sup>1</sup> Бунтари должны вновь научиться искренности и правдивому слову с помощью иронии, юмора, ниспровергающего смеха. „Литература смеха под сурдинку или „черного” смеха”, как пишет французский исследователь Юлия Кристева. Персонажи Солженицына – „скандалисты”. Они научились сопротивляться в мелочах. Это особый „микрогероизм” (который мы открываем и в книгах Буковского или Эдуарда Кузнецова). Микрогероизм насмешки. Нержин добивается, чтобы ему возвратили томик Есенина, который он, однако, не имеет права взять с собой, покидая шарашку, и дарит слепому дворнику Спиридону. Из чистого удалства и без всякой пользы отвоевывает Нержин синюю книжицу „деревенского драчливого парня”, который „нашёл столько для красоты” в смиренной русской деревне, ту самую синюю растрепанную книжицу, с которой Солженицын не расставался в Марфине и которую отдал Копелеву, уходя на этап, в лагерь. Олег Костоготов затыкает рот Русанову, соглашаясь на переливание крови потому, что кровь была взята 5 марта (день смерти Сталина:

II, 281



Солженицын и его лагерный друг Василий Григорьевич Власов  
„Человек со случайным ключным образованием, но тех само-  
бытных способностей, которые так удивляют в русских, кооператор-  
самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, запалющийся  
до полного раскала вокруг того, что он считает верным...“





„ – Пятое марта – это нам очень подходит! – оживился Олег. – Это нам полезно); он дерется за свое право прожить остаток жизни так, как считает нужным.

Смех освобождает каторжников от их цепей. Многие главы *Круга первого* представляют собою освободительное шутовство, катарсис каторжного мира посредством насмешки. Так, в главе 55-й происходит суд над князем Игорем, который, по советским нормам 1947 года, признан виновным в измене Родине, диверсионной деятельности, шпионаже и сотрудничестве с иностранной державой. „то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-6, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР”. Пародия на правосудие, разыгрываемая всею камерой, вызывает безудержный смех, потому что каждый из эзков обнаруживает свое собственное „дело” в процессе „Ольговича Игоря Святославича, по специальности полководца”. Другой пример освобождающего смеха – рассказ „Улыбка Будды”: необычайные приключения одной камеры в Бутырской тюрьме, камеры, выбранной „наугад” для показа госпоже Рузвельт (анекдот в духе и в традиции потемкинских деревень).

Эту разрушительную иронию Солженицын применяет везде и повсюду, направляя ее против монолита идеологии. Он яростный насмешник (хотя и отказывается это признать) и, в этом отношении, подлинный ученик Достоевского, автора *Бесов*, мастера сарказма и разрушительной иронии. В самом деле, хотя Достоевский и предоставляет своим героям „полифоническую” свободу, он без конца иронизирует над ними, доходя до жесткости, когда речь идет о „либералах”, плетущихся в хвосте у „радикалов” (как, например, Степан Трофимович, прихлебатель генеральши Ставрогиной). Ирония Солженицына обращена против всех представителей идеологии – „мертвых душ”, говорящих „деревянным языком”. Часто она выражается в авторском комментарии, как бы между прочим накладываемом на прямую речь. Автор-судья выслеживает своих героев и ловит их за руку – уличает во лжи. Этот прием, достаточно заметный уже в *Раковом корпусе*, приобретает самое широкое распространение в *Ленине в Цюрихе* и во многих главах *Октября Шестнадцатого*. Кажется, будто, становясь истори-

ком, Солженицын не способен хранить хладнокровие перед лицом исторического документа. Он рассказывает о заседании Думы 1 ноября 1916, цитирует парламентские стенограммы Таврического дворца, но — начинает свой рассказ саркастическими замечаниями. Это либо внутренние раздумья оратора, разоблачающие его трусость, тщеславие, двуличие, либо комментарии автора, указывающие читателю на всякие несообразности и шатания.

Сатирик — это борец, применяющий хитрость. Он не хочет раскрывать себя и свои планы до срока. Позиция Солженицына-сатирика претерпела удивительные изменения. В своих первых книгах он подкапывается под идеологическую ложь. Он выстраивает *Круг первый* и весь *Архипелаг* вокруг одного иронического сопоставления: ремесленное насилие былых времен — массовое производство насилия в двадцатом веке. Само название *Архипелаг ГУЛаг* (рифма в нем не случайна, но функциональна) — блестящая ироническая находка, отсылающая к Гомеру, только Цирцея, поставляющая жертвы промышленным свинофермам ГУЛага, фабрикам, перерабатывающим человека в отходы, Цирцея эта — безлика. „Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро Архипелага... Архипелаг родился под выстрелы „Авроры“. Ирония — известь, скрепляющая эту исполинскую массу письма, она организует книгу и вносит в нее ритм, она прячется в примечаниях, проникает в скобки, неистовствует в шутовских пародиях и зловещих каламбурах. Исследование, посвященное „нации эзков“ — пародия на антропологический трактат, где автор симулирует объективность и беспристрастность какого-нибудь Палласа или Линнея: „Автор... полагает, что настоящее исследование удалось, гипотеза вполне доказана; открыта в середине двадцатого века совершенно новая никому не известная нация, этническим объемом во много миллионов человек“.

Бесчисленные сравнения с прошлым дают нам масштаб для оценки того, что творится сегодня. Елизавета Вторая рвала преступникам ноздри, но во все ее царствование не было ни одной смертной казни. Декабристов сослали в Сибирь, но их жены получили высочайшее разрешение последо-

VI, 11

VI, 691

вать за мужьями в ссылку. Помещики притесняли и тиранили крепостных, но пресловутая Салтычиха просидела в тюрьме одиннадцать лет. Где они, сегодняшние палачи, осужденные на одиннадцать лет тюремного заключения? Скрыто или открыто, употребляя старомодное „мы скромности” этнографа или саркастически атакуя Сартров и Расселов, автор *Архипелага* присутствует в своем повествовании неизменно. К своим главным врагам Солженицын применяет особый метод борьбы: он проникает в их внутреннюю речь, берет в осаду их „я”. Этот метод объясняется характером подготовительной работы: Солженицын читает и испещряет пометками сочинения, речи, воспоминания, записные книжки своего героя до тех пор, пока не почувствует, как в нем самом начинает звучать скрытая мелодия чужого существования – Ленина, Сталина, Николая Второго... Четыре главы *Круга первого* о Сталине – парадигма и эталон солженицынского метода: стареющий полубезумный деспот, закрывшийся в своем бункере, который защищает его от постылого солнца, тянет у нас перед глазами долгую канитель своих мыслей, в которой проходят и пресыщенность, отвращение ко всему, и презрение к пигмеям, которые его окружают, и воспоминания о семинарии, об охране, о Ленине, трусливом начетчике, которому была необходима грубая сталинская стойкость. Все прочие увязли в собственных химерах, в революционных талмудах, а он, Сталин, один прикрыл все их слабости: он спокойно подписывал списки осужденных на смерть, безмятежно принимал знаки поклонения всей планеты, множащиеся беспрерывно... В конечном счете, новый Император сам выставляет напоказ свое многолетнее коварство. Воин Солженицын прячется под маской своего героя-врага и игрою скобок и вводных предложений кладет последние мазки на мастерский портрет этого верховного двуличия. Впрочем такое просачивание во вражеский тыл иногда приводит „лазутчика” Солженицына к поразительному слиянию с противником, слиянию, которое выглядит как сговор. Начинаешь думать, что этот снисходительный взгляд, которым смотрит на Ленина Сталин (бедняга, он воображал, будто для кухарки может найтись другое место, кроме как у плиты!), принадлежит и самому Солженицыну... Слишком

долгая осада может обернуться неуместной близостью с врагом...

Полная хроника солженицынской борьбы потребовала бы слишком много места. К тому же он написал ее сам — в *Бодался теленок с дубом*, своем „тактическом” шедевре. Все его главные работы были „замаскированы” на случай советской публикации, и будущие исследователи напишут дипломные работы и диссертации об „облегченном” и полном варианте каждой из них. Кажется, что автор по собственному выбору определяет степень свирепости и лукавства для любого из своих произведений, так что в каждом свои, особые „мера и вес” агрессивности и запальчивости. Пример самый показательный — это *Круг первый*, который, переходя от „варианта 87 глав” к „варианту 96 глав”, меняет смысл кардинальным образом: монолог Сталина значительно удлиняется, становится воспоминаниями обо всей прожитой жизни, бунт Володина становится намного более глубинным и резким, высказывания „рыцарей” шарашки — еще более вольными. Солженицын без колебаний выносит свои приговоры по весьма и весьма спорным историческим вопросам: его Сталин состоит на тайном жаловании у царской охраны, его супруги Розенберг — избалованные предатели, и дипломат Володин звонит в американское посольство именно для того, чтобы расстроить их умыслы. Иначе говоря, „восстановленный” вариант — намного более агрессивный, „антисоветский”, чем „облегченный”, где дружиной действия служит жалость, а не ненависть к режиму. Видимо, этот восстановленный вариант ближе к *Пиру победителей* и другим сатирически-антисоветским произведениям, „написанным” в лагере и недавно опубликованным. Да, необузданная запальчивость остается основой писательского темперамента Солженицына. И необходимость хитрить никогда не приглушала яростной остроты отрицания — неизменного, язвительного и категорического „нет” бывшего каторжника.

В связи с новым вариантом *Круга первого* возникает особый вопрос — об эволюции самого Солженицына и (косвенно с ним сопряженный) о пользе цензуры в России. Не входя в подробности,<sup>2</sup> достаточно будет отметить, что фабула романа прошла через три этапа. На первом двигателем

развития сюжета была активная месть, **тираноубийство**: ради борьбы против тирана, Володин сознательно идет на измену своей стране, предупреждая американцев, что супруги Розенберг хотят выдать атомные секреты. Второй этап: чтобы обойти цензуру, автор заменяет двигатель ненависти двигателем жалости — теперь Володин звонит старому ученому, чтобы тот не попался в ловушку, которую приготовило для него МГБ. На третьем этапе (уже в изгнании) автор возвращается к первоначальной фабуле, т. е. к теме активного тираноубийства и (опираясь на Герцена) праведной измены. Это троякое движение фабулы очень показательное. Только средний этап — вдохновляемый компромиссом с цензурой — основывается на сочувствии, а не на ненависти. Можно было бы утверждать, что он один подводит к действенному катарсису. Можно также утверждать, что он совпадает с тем периодом в карьере Солженицына, когда писатель занимал по отношению к режиму примирительную позицию. Равным образом можно отдать предпочтение этому варианту как в большей мере направленному на катарсис. До и после него перед нами борец-зэк или борец в изгнании. В третьем варианте, вермонтском, меняется также портрет Сологдина-Панина, намечен отход, отдаление от рыцаря с лицом Христа. Нержин-Солженицын эмансипируется — освобождается от воздействия того, кто, в большей мере, чем Рубин-Копелев, был его наставником в мятеже. В любом случае, колебания фабулы между ненавистью и сочувствием означают нечто большее, чем простые уступки цензуре: вся структура мятежа сперва развивается в сторону катарсиса, отвечая временному ослаблению защиты „Я”, а потом, в американском изгнании, снова возвращается в зорко оберегаемую крепость мести...

Ярость воспета в Части пятой *Архипелага*, где, в суровом и чистом воздухе восстания, проходит кенгирскую ночью средневековая армия, вооруженная пиками и дрекольем, как на сиенских „примитивах”. Эта неукротимая ярость настолько бросается в глаза, что, перечитывая себя для американского издания, Солженицын счел необходимым если и не отказаться от сказанного прежде, то, по крайней мере, предупредить читателя против неверного истолкования Кенгира:

„В лагерной среде, растленной по советскому образцу, пронизанной доносчиками, борьба начиналась — увы, не могла начаться иначе — с террора. Террор — ужасное средство, но порождён он был несравненным сорокалетним советским государственным террором. Это яркий пример, как зло порождает зло”. Таким образом, зная всю цену „просторам свободы и борьбы”, которые он показывает в своей книге, апостол из Кавендиша в Вермонте хочет отмежеваться от западных метальщиков бомб. Но — косвенно — какое признание! Христианин предупреждает, а кенгирский каторжник ликует...

В известном смысле Солженицын — весь и всегда — дрожит в упоении борьбы. И может быть даже, что мстительный портрет Ленина-борца — лишь средство очищения, избавления от ярости, которая в нем клокочет. Каждая большая книга завершается беспощадным, разящим выпадом: ма-кака, ослепленная человеческой злобой, в *Раковом корпусе*; патриотическая телеграмма, возвещающая псевдопобеду под Львовом, в то время как русская армия потерпела сокрушительное поражение, в *Августе Четырнадцатого*; и, особенно, в *Круге первом*, где корреспондент парижской газеты *Либерасьон*<sup>3</sup> восхищается множеством фургонов, которые развозят мясо по Москве, а эти фургоны с надписями на многих языках перевозят только один сорт мяса — живую плоть зэков...

Этот вид иронии не исключает, однако, другой сферы смешного, а именно — юмора, остроумия, и к тому же — остроумия каторжного. В последних публикациях Солженицына юмора, вроде бы, нет, но *Круг первый* пропитан им насквозь: насмешливое остроумие „каторжной байки” формирует самый ритм книги. Оно образует остов *Архипелага*, делает его „обитаемым” для читателя. Оно присутствует и в *Августе Четырнадцатого*, где цветет животная метафора, заимствованная из народных сказок, из басен Крылова и, особенно, у Гоголя — из *Мертвых душ*, из *Ревизора*. Я еще вернусь к этому в следующей главе, и мы убедимся, что снисходительность рассказчика-юмориста тесно связана с „русскостью”. Беспощадный сатирик старается сорвать маску с палаческой идеологии, тогда как рассказчик, мастер

народного юмора, вновь выводит на сцену исчезнувшие было „русские добродетели”.

„Делу Солженицына” посвящено уже немалое число книг.<sup>4</sup> Но оно все еще не закрыто: „кавендишский отшельник”, которому теперь помогает его жена, Наталья Светлова, не отказался от борьбы. Если попробовать разобраться, как обыкновенно протекает эта борьба, мы увидим, что главное тактическое преимущество „воина” Солженицына — это умение выжидать, хранить молчание, выступить лишь в тот момент, который выберет он сам, а не враги или же обстоятельства. Когда намеки делаются все более ядовитыми и официальные идеологи мало-помалу добиваются реванша за публикацию *Ивана Денисовича*, тактика Солженицына состоит, прежде всего, в том, чтобы принимать и толковать все слова буквально. Почему Союз писателей не защищает своих членов? Вы хотите, чтобы я осудил „спекуляции за-границы” на моих произведениях? Но я никакой „заграницы” знать не знаю, для советского писателя „заграницы” не существует! Письмо Четвертому съезду писателей (22-27 мая 1967) — первая лобовая атака. Она яростна, но искусна, потому что замыкается в рамках литературы. Называя вещи своими именами, письмо разоблачает и изобличает цензуру, излагает ее историю и заканчивается сдержанным, почти скупым заявлением: „Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть”. Это заявление, эта невыблемая опора, найденная в добровольно принимаемой смерти, сообщают всей дальнейшей стратегии Солженицына особое качество. До самого дня изгнания писателя в поединке, который он ведет, заключен, в качестве негласного постулата, небывалый вызов: писатель бросил на весы собственную смерть. Мы увидим, что и самый стиль Солженицына будет отмечен неизгладимо этой призванностью к жертве. Праведный библейский гнев внушает ему великолепные укоризны. На Секретариате Союза писателей он бросает своим „судьям”: „Слепые поводыри слепых!” — и продолжает: „Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше бессмыслие”.

В распре с московскими, а потом с рязанскими „товарищами по перу” (последним было поручено исключить его

из Союза писателей) Солженицын пускает в ход два мощных оружия попеременно — тактическую мобильность и неприступность защиты. В те странные „годы ничьей земли”, которые проводит в СССР бунтарь, отовсюду исключенный, но не лишенный права на существование впредь до особого решения властей, он использует — с безукоризненной военной точностью и мастерством — все возможности встреч с западной прессой: борется против инсинуаций, распускаемых на закрытых собраниях и подхватываемых некоторыми изданиями на Западе (статья в журнале *Штерн* от 18 ноября 1971), против фальсифицированных западных публикаций его книг и даже против малодушия шведского посла в Москве. Единственный его секрет в том, чтобы все обнажить, дойти до самой сути вещей — и так ошеломить противника. Надеялись загнать его в тупик, отказав в московской прописке, на площади новой жены? Он идет в контратаку, обличая новое „крепостное право”. Грозят смертью в анонимных письмах уполномоченных на то „бандитов”? Он отвечает завещанием, отосланным в Швейцарию: его арест вызовет немедленную публикацию *Архипелага*. Солженицын остается за рамками диссидентского движения: он не хочет попусту растрчивать ни свое время, ни свой авторитет. Но в интервью от 23 августа 1973 года он дает внушительную картину тогдашнего диссидентства и моральных позиций, которые из него вырастают.

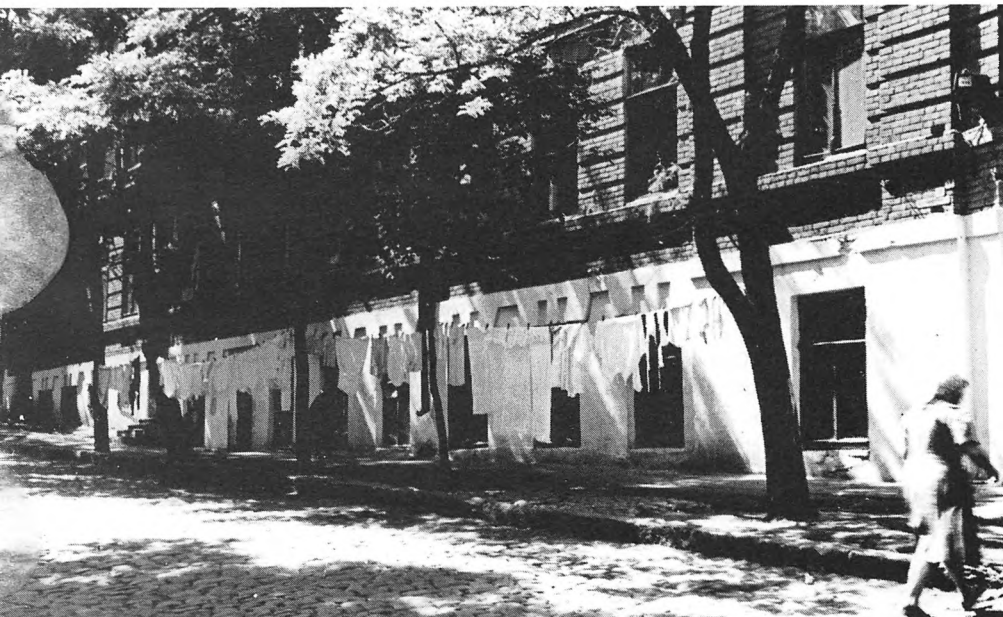
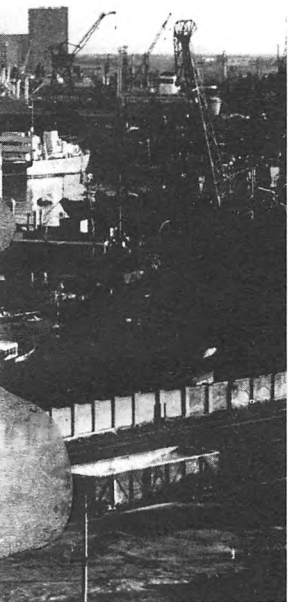
Перечитывая всю публицистику Солженицына, дивишься его необычайной последовательности. От письма Четвертому съезду писателей до Гарвардской речи темы — одни и те же, но раскрываются медленно, по-немногу, и все подчинено **моральному критерию**. Отсюда подчиненность демократии нравственным целям жизни, ощущаемая уже в *Письме вождям Советского Союза* и гремящая оглушительно в Гарварде в 1978; отсюда и первенство нации перед идеологией — линия, начатая в сборнике *Из-под глыб* и завершающаяся резким осуждением русских либералов в феврале 1977 (в интервью от февраля 1979); и отрицание морального права на эмиграцию для тех, кто считает себя русским, появляющееся впервые в телеинтервью компании СиБиЭс (июнь 1974), уточняемое в открытом письме Павлу Литви-





Ростов-на-Дону, родной город Солженицына  
(фотографии 1956 г.)

„От возврата в Ростов всегда бьется сердце! — особенно вот так ранним утром, когда свеж, чист, в темной зелени деревьев крутой подъем Садовой к Доломановскому и извозчик на подъеме задорно гонит не отстать от трамвая!”



нову (январь 1975) и, наконец, выливающееся в яростную обвинительную речь („Радиоинтервью компании БиБиСи”, февраль 1979); и сожаление, что Запад вступил в союз со Сталиным ради победы над Гитлером, высказанное в Нью-Йорке в июле 1975 и разъясненное недвусмысленно в мае 1978. Солженицын берет слово только по своему собственному решению и никогда — в ответ на вызовы средств массовой информации. И в каждом интервью он бьет еще одним, новым доводом — полемизируя с газетой *Ле Монд*, общившей (ложно) о его поездке в Чили, к Пиночету; навлекая на себя брань испанской левой прессы в марте 1976; вызывая многочисленные возражения своими гарвардскими тезисами. В апреле 1978 он отправляет в Париж свою жену — для публичной защиты Гинзбурга и других распорядителей Русского общественного фонда...

В этих выступлениях публициста различима очень твердая манихейская позиция, но не такая, как подумает невнимательный читатель. Все определяется точной историософской концепцией: Зло идет от гуманизма, от антропоцентризма, рожденных в эпоху Ренессанса и занесенных в Россию при Петре Великом. Этой концепцией пронизана и его публицистическая деятельность, и его пророческие взгляды, она объясняет его причуды (похвала еврею, когда он живет в Израиле — государстве „религиозном”), его ошибочные прогнозы (Португалия не попала под „коммунистическое иго”, но для Солженицына светская демократия способна только все развалить), равно как и предсказания, которые сбылись (о Вьетнаме после ухода американцев). Многие западные умы он возмущает, но он умеет и находить союзников: его выступления перед американскими профсоюзными деятелями, его обращения к американскому Сенату, его ссылки на „истинно” западного человека, который пренебрегает массовой информацией и не знает ее и от которого идут в Вермонт „потoki писем”, — не просто ловкие ходы; это политические акции, с которыми приходится считаться. И Солженицын отдаст себе в этом отчет, когда саркастически отклоняет запоздалое приглашение американского президента, Джералда Форда. Носитель неколебимых убеждений, он умеет передавать их другим малыми дозами и лишь тогда,

когда сам признает нужным.

Но в 1978 году в этом прирожденном борце какая-то усталось вдруг обнаруживает себя. Эту усталость выдает последнее дополнение к *Теленку*, написанное в Кавендише в сентябре 1978 и озаглавленное *Сквозь чад*. Не то чтобы Солженицын смирился — он отбивается с обычным задором; на этот раз он отвечает на пасквиль некоего Томаша Ржезача, чешского журналиста, эмигрировавшего в Швейцарию, позже перебравшегося в СССР. Книга Ржезача *Спираль измены Солженицына* была издана советским агентством печати „Новости” (как до того книга Решетовской). Автор доказывает, что Солженицын всегда, еще со школьной скамьи, был трусом и двурушником... Он пользуется заявлениями двух друзей детства и юности Солженицына — Николая Виткевича („Коки”) и Кирилла Симоняна. Больше всего ранило Солженицына, по-видимому, предательство Симоняна, который, тем временем, скончался, и Солженицын патетически обращается к потустороннему уже другу. Шаг за шагом он оправдывается перед другом, вспоминая, между прочим, как приходил к нему в 1968 году в Москве: Симонян, обиженный или перепуганный, не открыл тогда дверь, к которой он прильнул изнутри, затаив дыхание, но гость узнал его шаги. Солженицын восстанавливает истину в том, что касается его предков, твердо, но тактично отвечает первой жене, перед Симоняном, однако же, „штушевывается”. Очевидным образом он уязвлен обвинением, будто бросил свою роту в окружении. „А ночь была — незабываемая, она и сейчас стоит как живая. И сколько раз я порывался ее описать: сперва еще в лагере, в стихах, четырёхстопным хореем, продолжением *Прусских ночей*, и уже написал кое-что, но затем потерял, и из памяти стёрлось. И потом — в ссылке начинал, в прозе, но другие сюжеты выдвигались важней, так никогда и не собрался. А всё особое чувство, какое к Восточной Пруссии возникло, — улилось в *Август*. И осталась та ночь только в прорезанной памяти”. Здесь мы находим одну из самых прекрасных военных страниц у Солженицына: она вся проникнута той невесомостью, тем легким хмелем, которые дает нависшая опасность смерти, обостренное чувство эфемерности, заемности собственного тела...

СЧ, 35

За всем тем ни обвинения в патологической трусости, в измене, в бандитской наследственности, ни фальсификация армейской карьеры капитана Солженицына не выбивают автора *Теленка* из седла. Что его ранит по-настоящему, так это попытки испачкать его мать, замарать все общее прошлое в Ростове-на-Дону. Кирочка, товарищ детства и одноклассник, разделявший с ним мечты и раздумья отрочества, попал в клоаку ненависти и клеветы, сделался соавтором презренного наемника! Но старый борец быстро приходит в себя: „Что могли — всё сделали. Всесоюзным приказом сожгли *Ивана Денисовича* с *Матреной*. И одёжку мою, отплёвываясь, сожгли в лефортовской печи. И вырыгнули уже которую книжонку — мне в анафему. Но как в пещеру к Воронянской<sup>5</sup> неотвратно вкрались они душить — так и в их охоронённые палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк Архипелаг, без рукавиц, в обутке ЧТЗ. И — заметались”. Мрачное и пронзительное олицетворение из Архипелага! Одна из самых сиплых и самых сильных страниц *Теленка*. К этой удивительной книге есть и другие дополнения, еще не изданные, которые автор пока придерживает, чтобы опубликовать позже. Как бомба замедленного действия, *Теленок* еще не взорвался до конца. Бывший артиллерист Солженицын умеет прикрывать свои войска и хранить боеприпасы...

И все же упорный отказ Солженицына угождать средствам массовой информации, забота о том, чтобы никогда не повторяться (в его глазах, именно это отличает настоящего писателя от ненастоящего), бесспорно ослабили его позиции на Западе в споре с прессой, радио и телевидением. В этом есть некий вызов, брошенный журналистам и обесценению информации, связи, и подлинный акт веры в слово — истинное и единое.

Солженицын в Кок-Терке сооружает кровать → из деревянных ящиков

К стр. 150:

„Вот именно этого мне в жизни не хватает: чтоб во все стороны было видно!”





## ВОИН БОЖИЙ

„О, дай мне, Господи, не переломиться  
при ударах! Не выпасть из руки Твоей!“  
(*Бодался теленок с дубом*)

*Теленка* не понять, не проникнув в смысл его названия. Это первая половина русской поговорки „Бодался теленок с дубом, да рога запропастил“. Солженицын отдает себя под защиту народной мудрости, но лукаво недоговаривает, оставляя „мораль“ невысказанной. На самом деле, бодаясь с дубом, маленький теленок скорее отращивает рога... Эта книга, как и все солженицынские творчество, стоит под знаком русской поговорки и народного лукавства или народной же оглядчивости: хорошо смеется тот, кто смеется последний; маленький, да удаленький; счастью не верь, беды не пугайся; людям тын да помеха, а нам смех да потеха; подранок бывает опасен; хвали день по вечеру, а жизнь по смерти... Юмор, лукавство, мудрость, эпический размах — здесь все народное: плечом к плечу со своим литературным двойником, мужиком Иваном Денисовичем, благодаря „ответственному мужику“ Твардовскому и „верховному мужику“ Хрущеву, Солженицын расшатывает основы „деревянного языка“ идеологии и возвращает силу „свету, который в нас“. Но ответственный мужик с трудом понимает теленка, „ибо не мыслил он претензий от телёнка к корове“.

Первоначальное ядро книги было написано в апреле 1967. После того, как КГБ наложило руку на архив, и непосредственно перед письмом Четвертому съезду писателей СССР. „Или шея напрочь, или петля пополам“. Писатель уже давно бьется с поднятым забралом. Это уже не бывший зэк, мастер скрываться и хорониться, теперь это поборник и подвижник Бога, глашатай теней ГУЛага, пророк, чья жизнь принадлежит не ему: „Я — не я, и моя литературная судьба — не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих лагерных открытий“. Укрывшись в деревушке Рождество-на-Истье, Солже-



ницын решил записать историю своего неповиновения советской власти. Тем самым он обходит два препятствия: одно – интеллектуального порядка, – литература о литературе есть интеллигентский грех, он, Солженицын не знает иной литературы, кроме **первичной**, творческой, обличающей, пророческой, толкования пусть остаются другому веку, более мирному; и второе – порядка морального, – ибо говорить о себе значит, хотя бы отчасти, предавать дело, и Александр Исаевич испытывает отвращение к „дряблomu” жанру мемуаров („липучее тесто”), где критерий истинности неуловим, а самолюбование почти неизбежно...

И вот сомнения и неприязнь рассеиваются: книга будет не мемуарной, она будет книгой борьбы, книгой одной борьбы. И, как повсюду у Солженицына, военные метафоры в изобилии (как, впрочем, и у Святого Павла). Итак, ядром *Теленка* будет хроника **появления и окапывания** Солженицына. Вот он выходит из тени, из мрака, в руках только маленькая праща, а перед ним – несокрушимый Голиаф власти.

Сперва „подпольный” писатель-зэк маскируется изо всех сил, отказывается даже от поисков подруги жизни – чтобы лучше сохранить свою тайну (для Солженицына всякая женщина – болтунья!). Потом боец раскрывается – посылает „облегченную” рукопись *Ивана Денисовича* в *Новый мир*. Наконец, он „на поверхности” – слава, короткая, но неудержимая, боец заключает союз с импрессарио и наставником – Твардовским. И вскорости – „подранок”, увертки за увертками со стороны того же Твардовского, захват архива, хранившегося у приятеля-антропософа Теуша. Раненое животное обороняется, становится опасным. Эти четыре главы ядра подчинены мощной, нарастающей динамике. Скованный поначалу угрюмою настороженностью зэка, Солженицын мало-помалу освобождается от своих пут, приближается к невидимому рубежу, за которым перестают лгать, и приходит к высшему испытанию, в котором ставит на карту собственную жизнь: я говорю о письме Четвертому съезду писателей. „Подошли сроки”. Эта первая хроника завершается сжатыми строками, одновременно и патетическими и ироническими. Опасность изменяет самый ритм фразы. Она укорачивается, задыхается, зыбит. Подранок

отбивается. „Не я весь этот путь выдумал и выбрал – за меня выдуманно, за меня выбрано. Я – обороняюсь”.

с. 177

В центре этих четырех глав – необыкновенная встреча с глазу на глаз: Твардовский – Солженицын. Твардовский (1910-1971), поэт из крестьян, self-made man советского режима, крестьянское происхождение, врожденная честность и немного удачи уберегли его от самых тягостных, самых компрометирующих уступок – несмотря на его близость к власти. Его большая поэма *Страна Муравия* (1936) – крестьянская хроника из эпохи „великого перелома”; многие, в том числе Василий Гроссман, видели в ней предательство по отношению к отцу поэта, жертве „раскулачивания”. Солженицын видит в авторе *Страны Муравии* обыкновенного „курильщика лжи”. *Василий Теркин*, народная эпопея в четырехстопных хорях (размер, напоминающий народные песни), был простою и сильною хроникой страданий русского пехотинца во время Великой отечественной войны. Эта часть поэзии Твардовского, насмешливая, смачная, полная простонародной грубости, нравилась Солженицыну. „Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался однако перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде!..” Этот важнейший, в глазах бывшего зэка, миллиметр составляет всю разницу между Твардовским и чиновниками от литературы, поставщиками стихов и прозы по заказу. Солженицын читал сатирическую аллегорию *Теркин на том свете*, которая тогда ходила по рукам и казалась безумно дерзкой – „по всеобщей робости”. Продолжение поэмы о войне, она тем же насмешливым стихом описывала изнанку советского общества: бюрократию, формализм, засилье органов безопасности; многое можно было прочесть между строк этого шутовского „нисхождения в Аид” солдата-мужика Теркина... Недаром так долго ждала она цензурного разрешения (ее сыграли на сцене в 1966). Что сделало возможным встречу Солженицына с Твардовским? Ответ совершенно ясен: та же любовь к русскому крестьянину, то же прославление его качеств. „Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться”. Иван Денисович, который еще

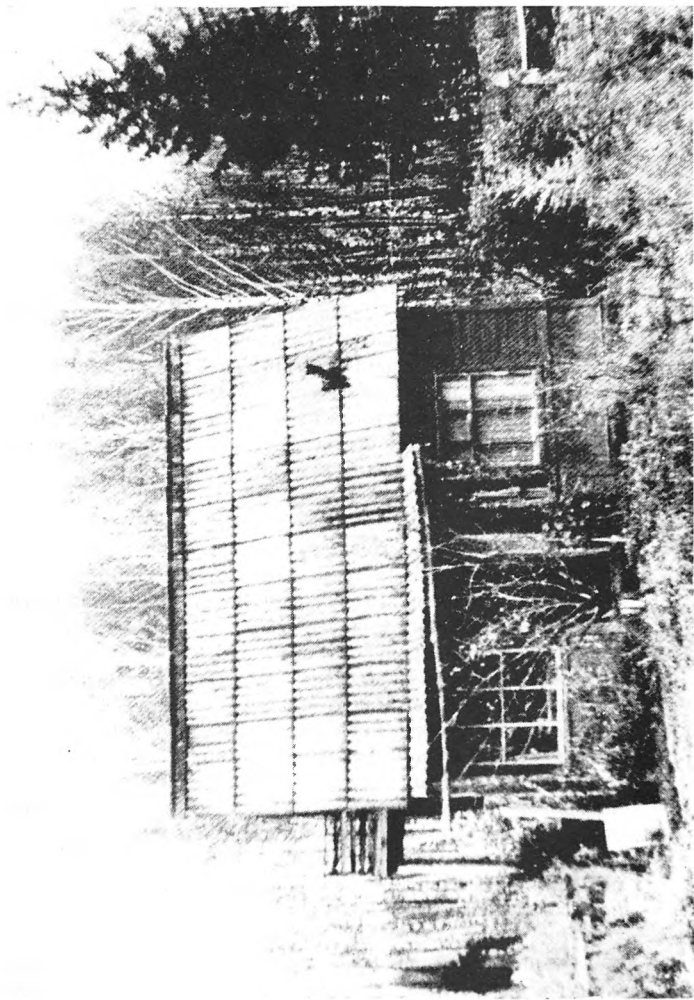
с. 20

спал в солженицынских тайниках, был братом Василия Теркина: оба огрубелые и простые, но чистые! Вдобавок эра Твардовского началась незадолго до того в *Новом мире*: главный редактор либерального журнала, коммунист Твардовский расширил до предела границы того, что можно было высказать, показать и даже почувствовать... Портрет Твардовского у Солженицына вызвал ожесточенные споры, о которых говорилось во второй главе, и сами споры эти — как бы приложение к эпосе „маленького теленка”.

Портрет Твардовского проступает, прорисовывается в бере страниц: автор „раскрывает” его лишь мало-помалу, по мере разногласий, сначала почти незаметных, а позже капитальных, разделяющих писателя либерального, но коммуниста и писателя, освободившегося от обязательств верно-подданого. Лицом к лицу с собеседником, который обнаруживает в себе некую силу и даже некую миссию от Бога, Твардовский остается неподвижным, оплетенный, как Гулливер, тысячами невидимых нитей. Один остается на берегу, другой уже вышел в плавание в поисках нового континента.

Как всегда у Солженицына, беседа идет втроем: тогдашний Твардовский, тогдашний рассказчик и рассказчик „сегодня”, т. е. в миг, когда пишется страница. Постоянная ирония, отмеченная игрою скобок, — в них разоблачается тайная мысль или же беспощадно обнажается то, что произойдет позже, — оживляет и углубляет портрет. „Я полюбил и его мужицкий корень; и проступы его поэтической детскости, плохо защищённой вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда — перед вышеставленными (в лицо, — а по телефону чаще терялся), и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое моё и его, и слишком разное мы вывели оттуда”. Если Солженицын подчеркивает, что по телефону Твардовский терялся, так это потому, что телефон — невидимое оружие бюрократов, русановых.

Твардовский представлен хорошим, но неловким мужчиной; неловкость от того, что он оторвался от земли и поднялся слишком близко к трону. Он ведет добрую борьбу, но



„Борзовка”, домик Солженицына в Рождестве-на-Истье  
„Вот этот кусочек земли на изгибе Исты и знакомый лес и долгая поляна по соседству есть для меня самое реальное овеществление России. Нигде никогда мне так хорошо не писалось и может быть уже не будет”.

с. 36

тропа его слишком исхожена. Он сохранил полностью свой здравый смысл, сберег крестьянский юмор (который делает таким забавным *Теркина на том свете* и смешит Хрущева, когда читают ему эту все еще запрещенную поэму в Пицунде, в 1963), он очарован моральной стойкостью Солженицына, его силой, его равнодушием к славе, но вынужден без конца лавировать между правдою Партии и нагою правдой. „Как воздух, нужно было ему, чтоб эти две правды не раздваивались, а сливались”. Главные темы Солженицына — это его темы: крестьянский народ, деревенский праведник. Он „пережевывает” печальные истины *Матренина двора*: материальное и, особенно, моральное убожество советской деревни, утрата фольклора, утрата самого языка, настоящего, певучего, народного языка. Твардовский даже исправляет кое-какие языковые детали в *Матренином дворе*: как же — Солженицын ведь не крестьянин! Но выводов Солженицына принять не хочет или; по меньшей мере, хотел бы их притупить: что понятие Добра исчезло, что само это слово потеряло свой нравственный смысл, — с этим он не согласен, и он делает круги, как корова вокруг кола, к которому привязана.

с. 40

В целом, все выстраивается по схеме басни, скажем — басни о городской и полевой мышши. Твардовский — городская мышшь, сбитая с толку почестями и привилегиями, которые, неприметно для нее самой, ее поработают. Этот великий либерал принимает как должное культ личности, которым он окружен в *Новом мире*; перед решением он мешкает и увильчивает, как то и обычно для кругов, облеченных властью („они лениво живут и не привыкли спешить ковать ускользящую историю — потому ли, что никуда она не уйдёт? потому ли, что не ими, собственно, куётся?”). Твардовскому не надо наверстывать восемь погубленных лет, за спиною его не стоит мир замученных и запятанных, осаждающих память и требующих освобождения и искупления через литературу... Он кумир и важная шишка, хотя бы и вопреки собственной воле. Он может оказывать покровительство, но не может понять доподлинно и на равных своего собеседника Солженицына, эту полевою мышшь, скверно одетую, бородатую, непричесанную (Солженицын даже

культивирует, если можно так выразиться, свой неприглядный вид). Он верит, что „сотворил” Солженицына, и возмущается, видя, как его Пигмалион бунтует. Осень 1962 – пора дружбы между ними, искренней, но мимолетной („медовый месяц”). Затем портрет в *Теленке* обрастает страницами записей, в которых звучит досада. Твардовский пьет, Солженицын – принципиальный трезвенник. Твардовский привлекает в своем журнале лучших прозаиков, но хороших поэтов, по-видимому, отваживает. Из принципа или из зависти? Солженицын предлагает ему стихотворения в прозе Шаламова, Твардовский уклоняется от ответа. Главный редактор *Нового мира* предъявляет на Солженицына право тиранической монополии и находит это вполне естественным. Он ведет себя, как сюзерен. Солженицын не вассал, он сделан из другого теста. Опубликовав *Один день Ивана Денисовича*, Твардовский считает, что открыл Троя. Но Троя существовала до Шлимана, немца, который раскопал ее в девятнадцатом веке. ГУЛаг существовал и существует помимо Твардовского, который даже не знает разницы между Особлагом (*Иван Денисович*) и ИТЛ (*Олень и шалашовка*)! Когда Солженицын дал ему прочесть эту пьесу, Твардовский сказал, что она плохая (не без оснований), но довод его был тот, что не надо, мол, „перепаживать тот же лагерный материал”: для Твардовского тема ГУЛага исчерпана. Для Солженицына это только начало, впереди – *Архипелаг!*.. Хуже того: Твардовский чувствует себя оскорбленным. Читая рассказ *Случай на станции Кочетовка*, он находит неправдоподобным образ Тверитинова, который „не любит Сталина из одной только тонкости вкуса”, еще не пострадав сам. Как можно было не любить Сталина? А если Солженицын не любил, не означает ли это осуждения его, Твардовского?

Тайные эти раны обнаруживаются постепенно. Задним числом автор *Теленка* считает, что делал Твардовскому слишком много уступок, страдал непомерным чувством долга по отношению к сюзерену, который водил его на детских помочах. Досада, что его провели, надули, перегружает портрет злобой, неуловимой, но вполне реальной.

Твардовский, этот сибарит, которому собственное сибарит

ритство и невдомек, разъезжает по заграницам, успокаивает западную прессу насчет судьбы Солженицына, участвует во всех „спектаклях” культурной жизни, каковая, в глазах бывшего лагерника, есть не что иное, как ложь. Да, впрямую он не лжет. Он всегда останавливается в этом пресловутом миллиметре от лжи, и ради этого миллиметра Солженицын любит и уважает Александра Твардовского, поэта, увенчанного и лелеемого властью. Но он его судит. И, прежде всего, он его **видит**. Остальные льстят, боятся, курят фимиам. Солженицын **видит** его — одинокого, лишенного настоящих друзей, трагического, одним словом. Видит его добродушным и простым, по-детски чистым, но связанным, взятым в кольцо, обращенным в средство для чужих и чуждых целей. И, читая этот диалектический портрет, подвигающийся к разрыву, ко взаимному непониманию, мы чувствуем, что именно взгляд ээка Солженицына, впивавшийся в сатрапа Твардовского, был непереносим. „Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями”. Солженицын-математик пытается разобраться в задаче с холодной беспристрастностью. Две кривые имели общую касательную, даже общую производную, но пути их расходятся неминуемо...

В общем замысле и построении книги Твардовский играет роль первостепенную и незаменимую. Кажется, будто маленький теленок не столько обращает рога против громадного дуба, сколько против этого собеседника и посредника, который его напечатал, который ввел его в ненавистный „большой свет” и который **искушал** его. Да, есть в этом сочинении элементы, приоткрывающие нам тайную историю искушения. Искушения власти и властью. Искушения, напоминающего другое искушение, о котором рассказывается в *Архипелаге*. Зерно сталиниста еще прозябало в душе. И резкость рассказчика в *Теленке*, быть может, этим и объясняется (конечно — а *contagio*). Твардовский, в какой-то мере, оказывается невольным орудием спасения для Солженицына. Искушение — это слава, почести, московская квартира и отречение от **правды**. В самом лучшем случае Солженицын остановится в одном миллиметре (тот самый решающий миллиметр!) и откажется переступить через него... Один раз

он получит право обличить лагеря, в другой раз – нищету советской деревни, в третий – осквернение русского пейзажа. Постепенно и он окажется связанным. Есть еще искушение малыми делами: бороться против хамства здесь, против взяточничества там, против мелкой несправедливости. Но „главного крика” тогда уже не испустить. И вот Солженицын предпочитает обмануть, обидеть, уязвить ближних и дальних, но от этого главного крика не отрекается. Любопытно, что он отмечает совпадение важных для него событий с большими православными праздниками. Три пасхальных дня в 1964 году Твардовский провел у него в Рязани за чтением рукописи *Круга первого* и пил, чтобы отогнать, унять боль, этим вызванную (но Твардовский и не заметил, что на дворе Пасха, он забыл христианский ход времени). На православную Троицу в июле 1968 года он узнал, что *Круг* вышел, наконец, в Америке, и в тот же день была завершена „миниатюризация” *Архипелага* („отснят, плёнка свернута в капсулю”). „Когда тебе слабо и плохо – так хорошо прильнуть к ступням Бога. В нежном березовом лесу наломать веток и украсить деревянную любимую дачку. Что будет через несколько дней – уже тюрьма или счастливая работа над романом? О том знает только Бог один. Молюсь. Можно было так хорошо вздохнуть, отдохнуть, перемяться, – но долг перед умершими не разрешил этого послабления: они умерли, а ты жив – исполняй же свой долг, чтобы мир обо всём узнал”.

с. 239-240

Постепенно проступает филигранью: борьба советского писателя Солженицына, охраняемого поэтом-мужиком в фаворе Твардовским, превращается в битву поборника Божия. Битву в духе Ветхого, не Нового Завета. Вспыхивает неодолимая уверенность в том, что стал десницею Бога. Пришло „иное время”. „Иная голова” вела борьбу, „иной щит” прикрывал. Твардовский – да что он такое пред лицом этой силы, которая поднялась дабы свидетельствовать? Когда, после долгих колебаний, Солженицын приносит ему *Архипелаг* на прочтение (под присмотром: „жить с ним вместе, не упускать книгу из виду”), Твардовский едва держится на ногах („на чьём-то юбилее распил коньячка”), и Солженицын уходит со своей драгоценною рукописью. В тоне *Теленка*

с. 260







← 27-го декабря 1971 г. на похоронах Твардовского.  
„Обстали гроб каменной группой и думают – отгородили. Разогнали  
наш единственный журнал и думают – победили”.

звучит сострадание („Бедный Трифоныч! Он со мной — открыто, а я — никогда не имею права”, потому что нельзя ему доверить все тайны — слишком болтлив, слишком невоздержан!).

с. 263

„Мораль” портрета Твардовского дана в конце главы „Подранок”: „Советский редактор и русский прозаик, мы не могли дальше прилегать локтями, потому что круто и не-обратимо разбежались наши литературы”. Снова мысль Солженицына организована выбором и образом **перепутья**. Богатырь на скрещении дорог. Кто выбирает добрый путь, кто худой. Мы сами решаем свою судьбу...

с. 176

Однако к ядру прибавляются дополнения — и портрет Твардовского развивается. Солженицын следит за кривой температуры выздоравливающего. Вот, приободрившись в начале 1968, главный редактор даже посылает в набор восемь глав *Ракового корпуса*, а Солженицын еще иронизирует: само имя его означает твердость, дал бы Бог, чтобы он оказывал себя твердым всю жизнь. Впрочем „весь 1968 год... был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного расширения и углубления его взглядов и даже принципов...”

с. 247

Барин от литературы и мужик с тростью (аристократическая трость выдает лжемужика) целиком ушел в чтение сам-издата, в слушанье БиБиСи — вот чем он занимается теперь в своем поместье, на своей даче; и, видя, как он бежит к приемнику, несмотря на свою телесность, восклицает рас-сказчик: „Именно от этого порыва я почувствовал его близким как никогда, как никогда! Еще б нам несколько вёрст бок-о-бок, и могла б между нами потечь откровенная, не таящая дружба”. Но если „частный” Твардовский рас-прямяется и отказывается подписывать позорные обра-щения и резолюции, которые ему приносят бесстыдно на дру-гой день после 21 августа 1968, то журнал позорит себя — печатает в точности то же, что вся советская пресса... И Сол-женицын показывает нам Твардовского загнанного, за-травленного в собственном журнале. Чтобы сопротивляться, ему нужна была твердость в испытаниях огнем, но такой твердости нельзя научиться нигде, кроме как в эковском Архипелаге. Подспудный труд распрямления, совершающий-ся в Твардовском, приводит его к поэме о своей семье *По*

с. 249

*праву памяти*. Но сын реабилитирует только отца — не всю бесчисленную толпу „раскулаченных“; он чернит Сталина, но по-прежнему верит в Партию и преклоняет колена перед Лениным:

„Всегда, казалось, рядом был...

**Тот, кто оваций не любил...**

**Чей образ вечным и живым...**

**Кого учителем своим**

**Именовал О т е ц смиренно...**”

с. 265

Бедный Твардовский! Его бунт жалок, короток, верно-подданничество все еще держит его в путах! Он все еще марксист, все еще исповедует „Единственно-Верное Учение“, и потому, когда вспыхивает мини-полемика между советскими журналами по поводу выступлений „компатриотов“ (во времена сменовеховства говорили: национал-большевиков), он встает на защиту чистого ленинизма: „В а м я прошаю. А мы — отстаиваем ленинизм. В нашем положении это уже очень много. **Чистый** марксизм-ленинизм — очень опасное учение (?!), его не допускают“.

с. 277

4 ноября 1969 Солженицын исключен из Союза писателей своими рязанскими „собратьями по перу“. Борьба обостряется. И снова — то же расхождение, тот же диссонанс. Один остается верен благоразумию, нажитому в сталинский век, другой только о том и грезит, чтобы открыть новый „фронт“, прорвать вражеский строй. Вот они снова „на качелях“ решений. Один устремляется вперед изо всех сил, другой тормозит... Но теперь это лишь различье в оценках: разговаривают они **на равных**. И, пожалуй, на самые большие жертвы идет теперь Твардовский: ведь душат журнал, душат его самого, душат втихомолку, бесшумно.

И это самые прекрасные страницы в *Теленке* из тех, что посвящены Твардовскому. Уже давно упомянут в книге исторический роман *Август Четырнадцатого*, первый из двадцати „узлов“ о русской революции. Этот узел первый собран вокруг катастрофы Самсонова: сама честность, доброта, духовность и даже какое-то высшее моральное превосходство воплощены в этом храбром и благочестивом генерале, который, однако, сам того не зная, — и повинуюсь бездарям и карьеристам из Ставки, — ведет свою армию на

убой. Твардовский читал эти страницы и был в восторге. Нравственная высота взгляда и тона, набатный гуд, трагический, но сдержанный, достойный, печать жертвенности на широком лбу командующего, „семипудового агнца” — все ему нравилось. Но вот что обнаруживается все очевиднее от страницы к странице: командующий, обреченный в жертву, отождествляется с поэтом, гонимым властью, которой он не смеет отвергнуть. Один персонаж питает другого. Романический вымысел применяется к реальной опале. История одного поражения объясняет историю одной литературной расправы. Твардовский, упорствующий, побежденный, достойно переносящий обиду, но все же несущий ответственность за случившееся, и все же чистый в своем поражении, — это старый Самсонов, блуждающий в лабиринте-тисках прусских лесов. И когда настает конец, когда Твардовский совершает обход старого дома *Нового мира*, где в течение шестнадцати лет делалась советская литература, прощальный обход, достопамятный, медленный и достойный, — это прощальный обход Самсонова. „Поглядывая чуть выше, чуть выше себя, он так и ждал себе сверху большой дубины в свой выкаченный подставленный лоб. Всю жизнь, может быть, ждал, сам не зная, а в сии минуты уже был вполне представлен”. А вот — в примечании к *Теленку*: „Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками — и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! — тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота — и практическая беспомощность, и неспеванье за веком. Еще и — аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот — и лучше понял каждого из них”.

XI, 427

с. 303

Солженицынская ирония сопряжена теснейшими внутренними связями с трагическим началом на тех страницах, где он показывает агонию поэта: непрерывные проволочки „наверху”, непроницаемый занавес молчания, опущенный властями, раболепие развенчанного журнала, его осиротевшей редакции. Жалость оттенена сарказмом, уважение уме-

рятся жестокостью приговора. Как Самсонов, пораженный раком Твардовский умирает побежденным, но чистым. Парализованный, „с полутнятой речью”, живой труп, он следит со своей больничной койки за „нобелианой” и кричит сестрам и нянечкам: „Браво! Браво! Победа!”

Так уходит из книги убитый поэт, а борьба разгорается еще жарче и навсегда уводит Солженицына с той мели компромиссов и дерзновений в наморднике, на которой держался журнал поэта. С поэтом же, отныне скованным навсегда, умирающим от рака, происходит то же самое, что с Самсоновым: „Кончились все смутные неопределённые движения. И с ясностью предстал мир нынешний и всех прошлых лет”. Жалкий, как Самсонов „на своём природном лесном пониженном троне”, Твардовский, как и Самсонов, „хотел только хорошего, а совершилось – крайне худо...”<sup>1</sup>

Со своими голубыми глазами, в которых струится жаркий, „есенинский” свет,<sup>2</sup> поступью медленной и величественной, со своею наивностью, добротой и слепотой, Твардовский был для Солженицына тем же, что Самсонов для Вортынцева, то же, что Русь крестьянская – для Руси „пламенных душ”: сопротивлением злу слишком примитивным, чтобы зло одолеть, моральною чистотой, затемненной неисцелимою слепотой. Это блоковская Россия, чистая в самой нечистоте своей, пастернаковская Россия – пленница дракона. 24 ноября 1967 Солженицын смотрит, как Твардовский бредет по своему дачному участку, „очень похожий на мужика, ну, может быть, мал-мало грамотного. Он снял фуражку, и снег падал на его маловолосую светлую крупную, тоже мужицкую, голову. Но лицо было бледным, болезненным. Защемило... Он так и стоял под снегом, мужик с палкой”. Эта неподвижность, эта бледность-белизна, этот застой – все это черты России. Приходит на ум другой бездействующий персонаж, другое воплощение жизни не задавшейся, ускользнувшей (но превратившейся в искусство) – пастернаковский Живаго, умирающий безымянно в духоте трамвая...

Твардовский у Солженицына – существо чистое, тип поэта униженного и укрощенного. Этот портрет не просто занимает центральное место в композиции книги – в нем

XI, 452

с. 215-6

столько трагической объемности, что Твардовский остается навсегда возвышенным, возвеличенным. Не так однако поняли это его дочь и некоторые друзья. Уязвленные „оскорблением величества“, которое позволил себе Солженицын, Владимир Лакшин, Валентина Твардовская, Ефим Эткинд протестовали против того, что они сочли неблагодарностью и мелочным сведением счетов. Лакшин обвиняет Солженицына в том, что он весь проникнут лагерным духом, сталинским по своей сути, — духом бессовестности, жестокости, лжи. Я думаю, что это обвинение в „зараженности“ необоснованно, хотя Солженицын и должен был в лагере оборонять, укреплять свое „я“ против концентрированного насилия. Непонимание, обнаруживаемое близкими Твардовского и его бывшими сотрудниками, лишь подтверждает солженицынский диагноз. Никто не ставит под сомнение богатство *Нового мира* под руководством Твардовского, но журнал вписывался в сферу дозволенного, он не переступал той последней черты, за которой начинается полное освобождение. Непонимание это даже приводит Лакшина, тонкого критика первых напечатанных вещей Солженицына, к слепоте при чтении *Теленка*.<sup>3</sup>

При всем том смерть Твардовского завершила раскрепощение Солженицына. Как только исчезает двойственный его покровитель, „воин“, которого никто и ничто более не удерживает, дает себе полную волю, его меч разит отныне без передышки. Это уже не рожки теленка, это Божья секира...

Короткое предисловие ко *Второму дополнению к Теленку*, помеченное февралем 1971, содержит чрезвычайно важные разъяснения как об этой книге, так и о творчестве Солженицына вообще. Хоть и не любит он „дряблого“ жанра мемуаров, а все же открывает, что эта автобиографическая работа, „не обязательная“, то есть не предусмотренная его творческими планами, притягивает его, „бойко получается“, нравится друзьям. Прирожденный архитектор, он замечает, что эта книга „подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей — как велика будет и куда пойдет“. Коротко говоря, эта книга непредсказуема, ее ведет жизнь. „Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кон-



с. 209 чена...”, то есть конструкция ее открыта беспредельно, готова принять любую перипетию, определяемую ее же, книги, внутренней энергией. Это потому, что книга воткана в самую жизнь Солженицына, и потому, что вот уже несколько лет как эта жизнь приняла необычайный оборот: она тоже во всякий миг и кончена и не кончена. Это значит: поставленная под знаком смерти, добровольно принимаемой, под знаком величайшего риска, она каждую минуту ориентирует себя на наилучшее завершение. „Не продолжать бы надо, а дописать скрытое, основательней объяснить это чудо: что я свободно хожу по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в воздухе держусь без подпорки”. Стало быть, не столь важна хронологическая последовательность повествования об этой борьбе, сколь изъяснение тайны: жизнь писателя больше ему не принадлежит, энергия приходит извне, „чудо” — очевидно. Солженицын не упорствует: „Когда-нибудь, даст Бог, безопасность наступит — допишу”.

с. 209 Итак, книга не кончена, или, скорее, откровение не завершено, неполно. И нет сомнений, что перед нами религиозный и даже мистический опыт. На пути, изображенном в книге, в самом процессе писания этой книги жизни Солженицыну открывается ослепительный свет: в жизни своей он ведом и поспешествуем, как некогда Исаия, как Даниил, как Лютер или Аввакум! И эта **завершенность в незавершенном** сообщает книге блеск, совершенно ни с чем не схожий. Тяжелое дыхание битвы веет в ней, и все же она пишется словно бы под взглядом Предвечного, в Его присутствии. Одним словом, это одна из книг человечества, которые дают нам увидеть Провидение в действии. Недаром поведал нам автор, что уверен в Его присутствии в каждой человеческой жизни, в собственной его жизни и в жизни целых народов...

В 1968 году, ведя свое „Бородинское сражение”<sup>14</sup> за публикацию в Москве *Ракового корпуса*, Солженицын должен отбиваться от ультиматумов Союза писателей, от нажимов Твардовского. Отрывки из *Корпуса* напечатаны в *Таймс Литерари Сопплемент*, без ведома и согласия писателя. Узнает ли он участь Даниэля и Синявского, осужденных за два года до того на семь и пять лет лагерей? „Но — предчувствие, что несёт меня по неотразимому пути: а вот — ни-

чего и не будет!” В разгар битвы он, как Антей, возвращает себе силы в своем любимом Рождестве-на-Истье, на этом клочке земли на берегу ручья, в котором так чудесно поют вешние воды. Пасха. Маленькая церковь Рождества Христова поблизости обезглавлена, заброшена. Но он слушает всеобщую Страстную Субботу по радио (БиБиСи) и расчищает свой участок, с которого только что ушла вода, „от нанесённого хлама и дрома”. Мир и покой Господень. И мощный прилив того самого чувства, которое одушевляет пророка, ведомого Предвечным: „Как Ты мудро и сильно ведёшь меня, Господи!”

с. 224

Рождество с его нежным березовым пейзажем, упраздненным храмом, светлыми полянами – само храм, церковь, дом Божий. Березовая роща превращается в ступни Бога. Это храм России, этот волшебный березняк в излучине ручья. Нигде и никогда не писалось Солженицыну так хорошо, и, возможно, никогда уже не будет так писаться. Что-то неуловимое исходило от травы, от воды, от берез и ольх, от дубовой скамьи, от стола, врытого в землю прямо над берегом...

с. 231

Эпилог к *Третьему дополнению*, написанный в декабре 73, накануне решающих событий, возвещает, наконец, окончательное освобождение пророка. Он бросается в последнюю атаку, очертя голову, но „ещё во многом поправит меня Высшая Рука”. Он – в Его руке. Он – меч, стиснутый этой рукою. „Я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить ее и разгонять”. И после гимна – молитва: „О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!”

с. 407

Чем дальше углубляешься в *Теленка*, тем больше захватывает властный ритм хронологии. Лихорадка битвы правит всем. Текст полностью организуется военными метафорами, которые выступают повсюду. Теленок удваивает удары, но, вопреки пословице, рогов не теряет...

Лихорадка битвы еще оттеняется редкими жалобами, упованиями на отдых. Со своего командного пункта автор следит за исполнением общего, стратегического замысла, импровизирует контратаки, отвечает ударом на удар. Но время от времени он вздыхает: утихнет ли когда-нибудь этот ратный шум?.. Ах, уехать бы далеко-далеко, скрыться

на годы в глушь и „меж поля, неба, леса, лошадей — да писать роман неторопливо”. И в другом месте: выйти из долгой борьбы, полностью погрузиться в молчание и писать, писать...

с. 240

*Первое дополнение*, написанное в ноябре 1967 года в Рязани, — это письмо Четвертому съезду писателей о цензуре. Первая победа. Дуб ранен. *Второе дополнение*, написанное в феврале 1971 года в поселке Жуковка у Ростроповича, стоит под знаком Бородина: кто победитель — неизвестно, но битва — неслыханная. Два романа вышли за границей, и рукопись *Архипелага* тайно переправлена на Запад — тайное оружие, обладание которым переполняет автора радостью: „Свобода! Лёгкость! Весь мир — обойми!” Это — „прорыв”, но „душат” Твардовского, который, „душимый, сам душит”... *Третье дополнение*, написанное в декабре 1973 года в Переделкине у Чуковского, — самое сердце книги. Это — „нобелиана”, тайное завещание, укоризны патриарху Пимену, партизанская война против „органов”, захват *Архипелага* в Луге и самоубийство Воронянской, распоряжение печатать *Архипелаг* в Париже. Полная тайна и полная внезапность. Ощущение легкости, которое приходит в канун решающей схватки. „Бирнамский лес пойдёт!” Писание этой хроники борьбы облегчает душу бойца. Он распрямился, он бросает неслыханной дерзости вызов! Твардовского больше нет. Его место занимает Сахаров. Но никакие узы, порождаемые осадой, не связывают его с Солженицыным. Сахаров — „союзник”, Сахаров — чудо обращения к жертвенности человека, вышедшего из „сонмища подкупной, продажной, беспринципной технической интеллигенции”.

с. 395

И, наконец, *Четвертое дополнение*, написанное после изгнания из СССР в июне 1974 года в Цюрихе, — оно завершает сказание об этой битве. Место Твардовского и Сахарова заступает Шафаревич — соратник идеологический. Борьба в разгаре. Нужно снова прильнуть к земле, возобновить силы. Шафаревич — более, чем союзник, он станет верным Патроклом. С ним будет обдумываться проект подпольного журнала *Из-под глыб*, основания новой славянофильской мысли. И вот странные лирические ноты проскальзывают

в эту книгу войны. „Пассивное защитное состояние” овладевает командным пунктом. Главное – выполнено. Он ждет ответного удара. Он мечтает о том, что, как Нечволодов, в тюрьме напишет „историю России в кратких рассказах для детей, прозрачным языком, неукрашенным сюжетом”. Этот эпилог повествования, хотя и сотрясаемый грозными толчками поединка теленка с дубом, повернут теперь к русскому минувшему-будущему. О своих отношениях с Шафаревичем Солженицын пишет: „Соединяли нас общие взгляды на будущее русское”. С этим спутником Солженицын подолгу гулял по любимой земле Центральной России: „Мы переходили малую светлую речушку в мягкой изгибистой долине между Лигачёвым и Середниковым, остановились на крохотном посеревшем деревянном мостке, по которому богомолки, что ни день, переходят на подъём и кручу к церкви, смотрели на прозрачный бег воды меж травы и кустов, я сказал: – А как всё это вспоминаться будет... если... не в России!” Элегический вариант ручья жизни, написанного Кондрашевым в *Круге первом*. Прозрачен бег воды в ручье. Но воды нашей жизни непроницаемы для взора. И вот – арест 12 февраля 1974. Как в Страстях Господних – исполнение того, что было возведено и избрано добровольно. Наплыв воспоминаний о первом аресте в 1945 году. Вот снова камера, кормушка. Они не знают, что все предусмотрено: „Теперь сама собой откроется автоматическая программа”. Публикация за публикацией, бумеранг. Писатель спокоен в своей камере, он знает что его перо за него отомстит. Происходит странное знамение между заключенным на тюремной койке, под не угасающей ни днем, ни ночью электрической лампой, и писателем, который видит и судит себя со стороны. Книга заканчивается – как средневековые моралите – спором между телом и душой. И душа говорит, обращаясь к себе самой: за все, что успела исполнить, – Богу слава! Дуб попятился, теленок не потерял своих рожек. И приходят на память бывшего зэка строки из *Прусских ночей*, воспоминание об ином спокойствии:

На тело мне, на кости мне  
Спускается спокойствие,  
Спокойствие ведомых под обух.

с. 429

с. 435

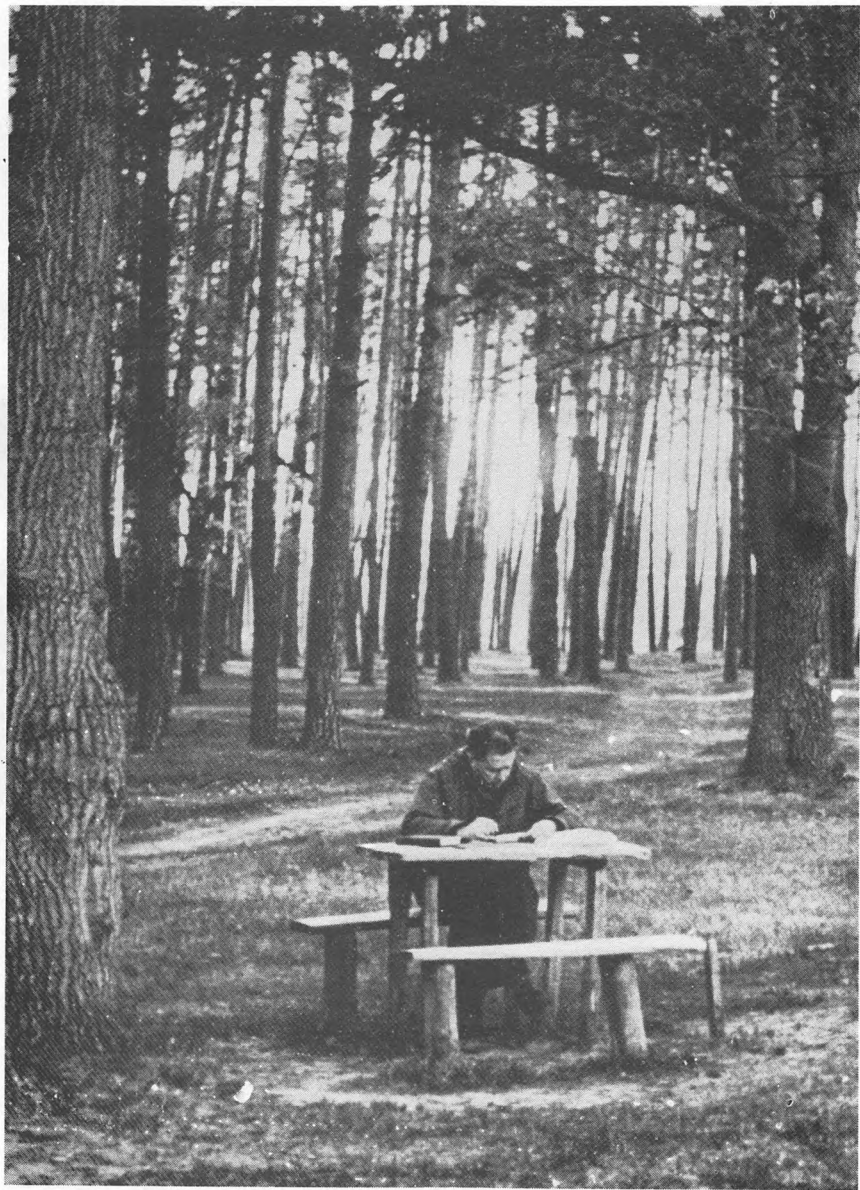
Вплоть до последнего мгновения прямая, жизненная связь между автором, текстом и читателем остается необыкновенно задушевной, доверительной. Автор рассказывает о своем аресте. Но самый этот арест приводит в действие *Завещание*: выйдут второй и третий том *Архипелага*, будет напечатан *Теленок*, который сейчас у тебя в руках, читатель... Редко когда писатель дает нам в большей мере ощутить ток, пульсацию живой крови между ним и читателем. И кровь эта, пульсирующая артерия, идущая от одной битвы к другой, от одного эпизода к другому, от одного человеческого чувства к другому человеческому чувству, — это текст. Ни один из великих борцов — Мишле или Герцен, Гюго или Толстой — не оставил нам текста, столь непосредственного, текста, который подобен щиту, магическому щиту письма, охраняющего, сдерживающего, ведущего в бой. Хроника яростного поединка, летопись инакомыслия, фантасмагория, сотрясаемое гомерическим смехом, военный дневник, пронизанный молитвами к Богу Воинств, *Бодался теленок с дубом* выходит далеко за пределы писаний бойца — это письмо, само ведущее бой. Это книга, написанная наперекор всему остальному творчеству писателя, открывающая нам опыт освобождения, достигаемого наперекор законам общества. Книга, где как бы вскользь, но с полной ясностью проступает уверенность в постоянном присутствии направляющего перста Господня: „Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, — и всегда меня поправляло Нечто”.

1955 г., после больницы →  
„Тою весной, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2-3 года только?), в угаре радости я написал *Республику труда*”.

*К стр. 174:*

Под Солотчей, весной 1963 года.  
„... какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и поляцам, к тихой замкнутости средне-русской природы...”





## ПИСАТЬ ПО-РУССКИ!

Язык Солженицына вызвал настоящее потрясение у русского читателя. Существует уже внушительных объемов словарь „трудных слов у Солженицына”.<sup>1</sup> Его язык стал предметом страстных комментариев и даже ядовитых нападков. Эмигрантский критик Роман Гуль упрекает *Август Четырнадцатого* в неблагозвучных неологизмах и „советских” анахронизмах. Переводчики выбиваются из сил, стараясь передать густоту неологизмов и уникальную необычность синтаксиса. В Соединенных Штатах даже вспыхнула дискуссия об американских переводах *Архипелага*; несколько переводов были сделаны наново. Сам Солженицын уже давно предостерегает против „предательских” переводов, которые стерилизуют его словарь, уплощают синтаксис. У него это настоящая мания. Неудивительно: из всех солженицынских начинаний реформа языка – быть может, самое для него важное.

Все искусство Солженицына начинается с бунта против идеологического слова, речи со встроенной в нее ложью; именно этой встроенной ложью определяются отвлеченность, псевдолитургические повторы, обедняющий космополитизм языка. С одной стороны, слово конфискуется, и даже авангардизм Маяковского присвоен, кастрирован и влит в сталинскую пошлость (Пастернак писал, что это было второю смертью Маяковского); а с другой, оно истощается, перестает быть выражением индивидуального, особого, вырождается в фон, в основу „социалистического реализма” – этот рекламный плод массового психоза, этот призрак, в котором нет ничего ни от реализма, ни от социализма. В *Круге первом* восстановление русского языка – навязчивая идея Сологдина, рыцаря лингвистического Китежа, вестника России, поглощенной потопом. Сологдин охотится на „птичи слова” – на все заимствования из других европейских языков: как на международные научные слова, так и на „деревянный язык” идеологии. Эта игра, в которой он и сам ошибается и оступается, но игра животворная, потому что заставляет



мысль заново переосмыслять понятия, переименовывая их. Сологдин отказывается от греческих и римских (латинских) заимствований, таких как „математик”, „сфера”, „исторический”, заменяет их забавными руссизмами, освежающими наше лингвистическое чутье: „исчислитель”, „ошарье”, „бытийный”. Это именно игра: вражда Солженицына к иноязычным заимствованиям не абсолютна. Но он и сам предложил переименовать Ленинград в Невгород.<sup>2</sup> Вообще говоря, Солженицын считает потерянным лад языка, его музыкальный строй. Этот музыкальный строй нашел прибежище в народе, и Игнатич наслаждается распевной речью старой Матрены, просторечными превосходными степенями, унаследованным от былин синтаксисом, образами, восходящими к деревенскому космосу. Рассказчик Игнатич мечтает о мирном уголке „в самой нутряной России”. Выбирая себе пристанище, он руководится именами деревень, потому что в старину названия „не лгали”: у деревень, как и у людей, были прозвища, открывавшие душу. Потом их заменили варварскими кличками, вроде „Торфопродукт”: „Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!” Как сохраняется в Тальнове патриархальная взаимопомощь (следы „мира”), так и Матрена в своей жизни, полной хлопот, хранит в неприкосновенности образную, уснащенную поговорками и пословицами речь рязанских крестьян. (Диалектизмы Ивана Денисовича — тоже рязанские.) Вся современная техническая лексика „сдвинута” юмором народной этимологии, как у героев Лескова или Ремизова. Матрена тотчас различает фальшь в словах. „Ладу не нашего. И голосом балует”, — говорит она, слушая певца по радио, но умеет мигом различить „истинную” мелодию, когда передают романсы Глинки. Календарь ее — это старинный церковный календарь с двенадцатыми праздниками и Пасхой, со множеством святых. Весь ее синтаксис строится на анаколуфах, на эллиптических конструкциях; речь ее сжата, сильна, энергична. Когда Матрена гибнет, дом наполняется „плакальщицами” на старинный манер, и мы слышим три типа „плачей”: нагробный плач в собственном смысле, „обвинительные плачи против мужниной родни” и ответы на обвинения.

Некоторые произведения Солженицына построены как

III, 124

III, 138

**сказы**, в той или иной мере скрытые. В *Матренином дворе* это вполне очевидно: рассказчик Игнатич – двойник автора. Глубже спрятано сказовое начало в рассказе *Для пользы дела*, где энтузиазм школьного коллектива натывается на равнодушную и хищную бюрократию, гворящую языком *Правды*. В *Случае на станции Кочетовка* скрытый сказ идет от правоверного советского юноши, проявляющего должную бдительность. Отметим, что недоверчивость и бдительность в нем пробуждает одно-единственное **слово**: пожилой актер не знает нового названия Царицына – Сталинград. Этот рассказ – образцовое противопоставление двух языков, даже двух **кодов**: языка старого поколения, образованного и не зараженного политикой, и молодого сталинского поколения, реагирующего автоматически на социальные „пароли”. (Рассказ был навеян воспоминаниями о двух неделях, которые Солженицын, заканчивая офицерские курсы, провел в тылу, в военной комендатуре на вокзале в Горьком.) Но самый замечательный скрытый сказ мы находим, вне всякого сомнения, в *Одном дне Ивана Денисовича*: мы слышим мужика-каменщика из Рязанской губернии, который сделался чуть ли не вечным каторжником, слышим его безыскусный крестьянский говор и его жаргон опытного зэка. Ни патетики, ни эстетики: стянутая, собранная фраза, суть которой – в силе глагола с выразительной приставкой и в наклоне к окрашенному на народный лад афоризму.

В *Раковом корпусе* Олег прибегает к лагерному жаргону как к тайному паролю – чтобы распознать своих. В социальном микрокосме больничной палаты звучат все языки советского общества: приглушенный жаргон, сталинские штампы и сигнальные слова Русанова, вольный, но потерявший корни язык Поддуева, языковая скудость Ахмаджана, казаха и невольного тюремщика, наивная идеологическая речь Вадима (усвоенная в школе), технический язык медицины (прячущей свой диагноз). И у всех одна цель – лгать. И прежде всего, целью этой задается язык Русанова, привыкшего улавливать людей в анкетные сети, маскировать донос, именуя его „сигнализацией”: язык Русанова представляет замкнутый и лживый мир бюрократии, прячущийся под педантизмом штампов и ложной скромности, и кровь

его жертв остается для него безымянной. В глазах Русанова, грубость Олега — покушение на советский уклад, настоящее преступление. Лучше всего символизирует Солженицын де-генерацию языка в образе Поддужева, которого наделяет раком не какого иного органа, а именно языка: „А заболел у Ефрема — язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полста лет много он этим языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату там, где не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святых да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей... И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернется через неделю и будут дом строить. „Ах, чтоб твой язык отсох!“ — проклинала одна такая временная тёща”. Язык отсох у всех персонажей *Ракового корпуса*. Но от старухи Устиньи Дёмка слышит живое слово, краткое и сжатое, и это слово сострадания. Человеческий язык, человеческая речь поставлены также в самый центр *Круга первого*: ведь вся шарашка работает над человеческим голосом, его кодированием, криптографией, глушением и опознанием. Голос Володина — обличающий в полном варианте, сочувствующий в „облегченном” — это преступный голос. Тусклый голос палача-бюрократа преследует Русанова в бреду. Он ползет какою-то бетонной трубой, и „тут чей-то голос, но без голоса, а передавая одни мысли, скомандовал ему ползти вбок... Тот же внятный голос велел ему заворачивать вправо, да побыстрей. Он заработал локтями и ступнями... полз, и как будто получалось”. Это бредовое пресмыкание в удушающем канале страха приравнивает Русанова к миру его жертв, которых он „канализировал” в безмерный Архипелаг.

IV, 98

IV, 205

Идеологическая речь, слово-палач действуют в рамках все более узких, они сводятся к системе приказов, лишенных какого бы то ни было смысла (16-я глава *Ракового корпуса* так и названа — „Несуразности”). И напротив, речь каторжников освобождается, обогащается, воссоздает мир, богатый чувствами и музыкальными ладами. Орвелловское

упрощение, к которому тяготеет система ГУЛага, совершенно бездейственно, и в этом смысле человечество Архипелага возвращает себе внутреннюю свободу и речь. Пусть ГУЛаг — лабиринт жестокости, меченный вехами садизма, но все же это не орвелловский мир, где человек — не более, чем порядковый номер в списке. В противоположность такому обезличению мы находим здесь шкалу нравственных ценностей, скрытую этику, очень развитую систему социальных отношений. Кристина Поморска справедливо замечает, что само название *Один день Ивана Денисовича* — вызов, брошенный „инвентаризации” человека. Щ-854 (номер, намалеванный на шапке и на бушлате), честный и смысленный каменщик, живой и великодушный, имеет в лагере право на имя и общество; тем самым бригадное „общество” полностью возвращает ему его личное достоинство. Номера — примитивный язык хозяев. Верное, точное, меткое слово — защита рабов. Солженицын дает, возвращает слово поработенному, проглоченному чудовищем народу; но никогда не признает он души за Левиафаном человечества под номерами, разве что — душу урки.

Есть в первых двух романах Солженицына споры о литературе. Дёмка, который только что прочитал знаменитую статью Померанцева „об искренности в литературе”, выслушивает строгое наставление касательно социалистического реализма от дочери Русанова, молодой, развязной и циничной: „Субъективная искренность может оказаться против правдивости показа жизни — вот эту диалектику вы понимаете?” В *Круже первом* о литературе говорит придворный писатель Галахов, специалист по искусственным и образцовым „конфликтам”. Известно также, что Солженицын издевался над „смертью романа” на Западе. В 1963 году Твардовский хотел послать его в Ленинград на симпозиум о романе, организованный Европейской ассоциацией писателей, председателем которой был Вигорелли. Но можно ли слушать, как в сорок глоток возглашают смерть романа, когда у тебя есть два исполинских романа (один написан, другой в задумке) и когда нетронутого материала реальности — выше головы?!

В *Одном дне Ивана Денисовича* придурок Цезарь Марко-

вич многословно рассуждает о стиле кинорежиссера Эйзенштейна — и выводит из себя старого эзка X-123, который заявляет: „Кривлянье! Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного!” Это прекрасное заявление — как бы *ars poetica* Солженицына. Его поэтическое искусство покоится, прежде всего, на этом „хлебе насущном”, т. е. на человеческой реальности, которую можно охватить лишь даром и подвигом памяти. (Я и не предполагал, замечает он где-то, всех возможностей нашей памяти.) Вот главный совет будущему Солженицыну на пороге лагерей: „Не имейте! Ничего не имейте! — учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не вонем мы, жадные, этой простой проповеди?.. То имей, что можно всегда пронести с собой: знай языки, знай страны, знай людей. Пусть будет путевым мешком твоим — твоя память. Запоминай! запоминай! Только эти горькие семена, может быть, когда-нибудь и тронутся в рост”. Память — настоящий мост, соединяющий острова Архипелага и человеческие жизни, бегущие по инерции. Память, неизменно поддерживаемая, сопровождаемая и укрепляемая смехом, смехом освобождающим и очищающим, вписывающим свои яростные разряды в память. Каждое произведение Солженицына — неистовый взрыв смеха; память и смех (гневный, священный, убийственный) формирует поток действительности, той самой действительности, которая молит писателя взять на себя заботу о ней.

Таким образом, способность Солженицына „осваивать” континенты реальности, скрытые от обыкновенного человека по его близорукости, соединяется с поразительным богатством письма, без которого материя осталась бы мертвой. Письмо это никогда не стремится к объективности, понимаемой как устранение всего личного. Более того: отказываясь от объективного „обмана зрения”, онс в открытую идет войной против толстовского совершенства, заставляющего верить в писателя-Бога. Благодаря сказу, смеху, иронии, беспрерывному подрыву свода враждебных, калечащих человека правил, благодаря лиризму памяти Солженицын находится в состоянии постоянного неравновесия, он постоянно в наступлении, выполняет боевое задание.

Изобретать новые формы? Боже нас упаси! Все диктует материал. Так говорил он в интервью 22 февраля 1977. Но это никак не значит, что Солженицын пренебрегает формой. Наоборот, он не упускает ни одной детали, вплоть до графического оформления текста, которое с каждой новой вещью все усложняется. Так, *Круг первый* открывается увертюрой-списком названий глав (в первом русском издании эти заголовки даже расположены симметрично по отношению к оси страницы): это не оглавление (оглавление будет в конце, с указанием страниц), это музыкальная увертюра, возвевающая переключку глав (названия глав у Солженицына, сами по себе, образуют известный текст).

Мы встречаем у Солженицына все фигуры классической риторики. Часты „неторопливые” метафоры, но автор отводит им новое пространство. Таковая „живая карта”, составленная Воротынцевым и его спутниками, когда, растянувшись на земле, они ищут выхода из окружения. Или – тоже в *Августе Четырнадцатого* – широчайшая по охвату метафора, в которой поле битвы становится током для разгневанного Бога-мужика. Военная история, вообще история переписывается поэтическим крестьянским есенинским языком: „Как колосья, распластанные на току, так и солдаты в окопах притаились и ждут, что расколотят им тела, каждому – его единственное. Гигантские цепи обходили их ряды и вымолочивали зёрнышки душ для употребления, им неизвестного...” В этом эпизоде встречаются два протагониста первого Узла: интеллигент Воротынцев и мужик Благодарев. Происходит как будто встреча и двух языков, интеллигентного и крестьянского. Воротынцев слышит между разрывами: „Как-знаток” вместо: „Как на току”. Так же Безухов слышит „сопрягать надо” там, где сказано было: „запрягать надо”. Как и у Толстого, мужицкое слово раскрывает барину глубинный смысл жизни и истории.

Солженицын восхищается прозой Лермонтова, в которой, как ему представляется, нет ни одного случайного слова, так же, впрочем, как и в лермонтовской поэзии; его восхищает плотность, насыщенность прозы, осязаемая в каждой фразе и в каждом слове. И самому ему знаком принцип мощной поэтической организации прозы, превращающий каждую

XI, 263

главу в некую лирическую единицу, нередко расчленяемую на абзацы-стихи. Такую единицу находим в главе „Пилка дров” *Круга первого*, с темой рождения света (чисто пастернаковской), объединяющей четыре разных судьбы: судьбу Яконова „на краю бездны”, который, после ночных скитаний, видит занимающийся над Москвою день, Сологдина, проникающегося первыми лучами этого же самого волшебного дня, Спиридона, грубого на язык брянского мужика, чьи глаза уже не способны уловить эти лучи, и, наконец, Нержина, решившегося, как и Солженицын, превратить тюрьму в „благословение”.

Солженицын ошущью, наугад ищет жанров, которые дали бы слово тому материалу человеческой истории, чьим носителем он себя ощущает в силу собственного опыта и опыта всех, кто ему доверился. Он хотел быть драматургом, но, видимо, драма ему не дается: в драматургии он слишком дидактичен, слишком **показывает воочию** гулаговскую вселенную. Как это ни парадоксально, но драматический род искусства, предполагающий зрителя, который действительно **смотрит** на сцену, этот род искусства требует символизма в действиях, а Солженицын не сумел его найти: *Олень и шалашовка* погрязает в непомерно избыточных деталях, *Свеча на ветру* дрейфует в абстрактном мире, который притязает на символичность, но „не держится”, разваливается. *В круге первом* и *Раковый корпус* — романские „полифонические” циклы, где все зависит от конструкции (в первом случае — более музыкальной, во втором — более живописной, зрительной), письму же заданы две главные задачи: через сеть символов, погруженных в материал, привести к лирическим и рациональным „замкам свода”, а с другой стороны, сделать каждое действующее лицо „проницаемым”, вводя в каждый внутренний монолог — незаметно вводя! — юмор, негодование, умиление или просто наблюдения рассказчика.

Связи между людьми размещаются, грубо говоря, на четырех уровнях. Полная изоляция, которую система хочет навязать (разъединение всех человеческих слоев, „зыбучие пески”, по выражению Домбровского), — вот первый уровень, уровень страха: „... Как насекомым, приколотым в отъединенных клеточках, каждому была определена своя”.

Второй уровень – уровень иронии, которая восстанавливает связь, высмеивая обветшалые приказы и запреты, возобновляя неопределенность, открытость истинно человеческих взаимоотношений. Третий уровень – открытая борьба, проклятия, покаяние в грехах и вообще освобождение языка. Наконец, четвертый – язык, вышедший за пределы слова; это уровень видений, лиризма, преображения и высшей пронизательности. На этом уровне появляется искусство, в первую очередь музыка. Музыкальные упоминания очень часты в двух первых больших романах, особенно в *Раковом кортусе*. Бетховен, Лист и Гуно, Глинка, Чайковский и Мусоргский сопровождают самые напряженные эмоционально сцены. Не следует забывать, что первая жена Солженицына была превосходная музыкантша. Сам он, на шарашке, смастерил наушники и долгими вечерами в камере жадно слушал концерты московского радио.<sup>3</sup>

Солженицын говорит, что ему неудобно, неловко в произведении, где слишком много места. Его мастерство в „малых формах” подтверждает это замечание и приводит на память Тургенева *Стихотворений в прозе* и Чехова-новеллиста. Это объясняет его „математическую” потребность проводить бесчисленные планы реальности через „узлы”. Но что в особенности помогает понять эта склонность к „плотной форме”, так это очень значительную и очень поэтическую автономию глав у Солженицына. Взаимоподчиненность глав ослаблена отсутствием интриги. Вдобавок каждая глава пишется словно бы перед лицом смерти, в напряженном ожидании конца, лихорадочном и, вместе с тем, торжественно безмятежном. Совершенно ни с чем не сопоставимо это в *Теленке* – произведении, созданном *sub specie mortis*. Что же до *Архипелага*, связующим цементом служат здесь увещательный тон, порывы то негодования, то лиризма, то иронии или сарказма. Нет никакой возможности разбирать подряд все литературные приемы этой великой книги – рассказа-хроники-автобиографии. Но нет сомнения, что именно присутствие рассказчика-посредника, который нас окликает и бранит, призывает и увещает, именно оно одушевляет эту громадную книгу и коренным образом отличает ее от любой документальной хроники. И какую бурю чув-



ства, энергии, иронии поднимает этот боец! Да, он часто прибегает к метафоре, но к метафоре особой – иронической. Можно сказать, что весь предшествовавший мир, вся человеческая история до ГУЛага служит метафорой ГУЛаговской вселенной. И в первую очередь – *Одиссея* Гомера с ее эгейской экуменой, ее островным архипелагом, которого каждое утро касаются пурпурные персты Эос-Зари. У Солженицына одиссея обретает зловещий смысл, архипелаг уходит в подполье, корабли его – смрадные „вагон-заки“, „караваны невольников“. Сокрушительное путешествие заключенных становится культурным путем человечества. Титанические труды по „канализации“ человечества суть подвиги нового Геракла. Сталинский „закон“ мужает на наших глазах, как новый и юный идол, требующий все больше жертвоприношений. Кровавые культы минувших времен кажутся невинною шуткой против новой империи и ее культа. Рассказчик притворяется спокойным, притворяется даже, будто понимает угнетателей. Он входит в их логику, сочувствует их делу, восхищается их „достижениями“. Никто не хотел зла на этой фабрике бесчеловечности: „И разве потому распяли Христа между разбойниками, что хотел Пилат его унижить? Просто день был такой – распинать, Голгофа – одна, времени мало. **И к злодеям причтен**“. Цитата из Евангелия отсылает солженицынский текст к неизмеримым глубинам: род человеческий переживает новое мученичество Христа. Нынешний век – век распятия... Трезвая ирония искушенного рассказчика обращена ко всему человечеству, какое жило до нас, ко всей „свободной зоне“, ко всему западному искусству, погруженному в „лоиски утраченного времени“, но едва ли способному применить свою утонченность к реальности ГУЛага. „Наши русские перья пишут вкрупне, у нас пережито уймаща...“

V, 477

V, 513

Все солженицынские портреты отмечены тою же самой терпкой иронией. Он сам рассказал, с какой быстротой выносит эзк свое суждение при встрече с новым лицом. Одна из постоянных черт его портретов – шуливая животная метафора. Человечество – это басенный животный мир. В нем просвечивает юмор русских народных сказок и былин. Шулубин – филин на насесте больничной койки. Полковник

Крымов – русский медведь, тучный, неуклюжий, с верным глазом. Когда он поносит своих сослуживцев, кажется, будто слышишь гоголевского Собакевича. Но он и великодушен, и предан, тоже как русский медведь... Силач Качкин – кабан. Арсений, хитрый и сметливый крестьянин, – воплощение сказочной смекалки. А Нечволодов – новый былинный богатырь; Самсонов, подобно Илье Муромцу, оказывается на распутье и выбирает смерть, сила же его переходит к Воротынцеву (так старый Святогор, умирая, передает свою силу Илье Муромцу).

Соотнесенность с народной мудростью, обладающей своей собственной антропологией, сообщает *Августу Четырнадцатого* – несмотря на драматизм поражения – катартическую функцию; она подтверждается важной ролью пословиц, знаков мудрости, – знаков, предвещающих, что не всё погибнет в катастрофе. Пословицы – не просто оболочка народного юмора. Как у Толстого, они знаменуют присутствие народа. Есть и заимствования из *Войны и мира*: артиллерист Чернега напоминает капитана Тушина – это колосс, который гнет подковы и командует своими людьми как бы не всерьез, как бы спросонья, но ему повинуются беспрекословно. Иные пословицы уже были использованы Толстым, как, например, „рок головы ищет” (*Война и мир*, IV, 1, 12). Насколько *Август Четырнадцатого* глубоко противоположен Толстому идеологически, так как Солженицын верит в роль личности, в роль „богатырей”, „рыцарей”, настолько же он составляет очевидную параллель *Войне и миру* – параллель ироническую. Заметим еще, что у Толстого был замысел написать об Илье Муромце...

Отвечая на вопрос, кто из русских авторов ему всего ближе в плане литературного мастерства, Солженицын назвал поэтессу Марину Цветаеву и прозаика Евгения Замятина. Если близость Солженицына к этим двум писателям – прежде всего, языкового порядка (стремление к синтаксической сгущенности, родственной речи народа, „древнерусские неологизмы”, поиски предельно энергичного слова), то она коренится, конечно, в их общем интересе к народному творчеству. Две поэмы Цветаевой на темы русских народных сказок, заимствованные у Афанасьева и поражающие

ритмами и анаколуфами, могли произвести на Солженицына незабываемое впечатление своею русскою выразительностью, отважной экономией средств и афористическим богатством, отмеченным духом народной речи. (Солженицын скорбит об исчезновении этого духа под жертвами языка газеты и идеологии.) Что касается Замятина, в нем, как и в Солженицыне, писатель соединялся с ученым; инженер-кораблестроитель, он писал новеллы, разом и гротескные и фольклорные. Солженицынский юмор, вне всякого сомнения, близок к замятинскому.<sup>4</sup> Напротив, Ремизов, с его орнаментализмом и стилизацией под фольклор, остается Солженицыну чужд, хотя его реформа языка идет в том же направлении. Ведь, в конечном счете, именно реформа литературного языка находится в самой сердцевине солженицынского творчества. Замятин говорил слушателям курсов петроградского Дома искусств в 1920 году, что главная задача русской литературы – это сближение языков литературного и разговорного. Сближение это, осуществленное во французской культуре такими писателями, как Селин, прошло в России много этапов, начиная с лингвистического мистицизма футуриста Хлебникова, через коллажи Пильняка и до *Ивана Денисовича*. Безграничная искусственность языка социалистического реализма сделала замятинское требование совершенно неотложным. Некоторые из своих главных идей Солженицын изложил в статье, появившейся в *Литературной газете* в 1966 (это его последняя советская публикация). Заголовком ей служит пословица: „Не обычай дѣгтем щи белить, на то сметана”. Солженицын ссылается на Владимира Даля, великого русского лексикографа и собирателя пословиц и поговорок, а также на традицию „рачителей” русского языка, пекшихся о его чистоте, богатстве, „ёмкости”. В стиле, объясняет он, важен „склад” письма и энергия синтаксических связей. Он приводит пример двух вольных стрелков русской литературы, примечательных кажущейся небрежностью и внутренней энергией своего стиля, – Герцена в девятнадцатом веке и Андрея Платонова в двадцатом. „Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от

резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала...” В списке ее недугов Солженицын приводит обеднение словарного запаса, потерю средств именного словообразования, собственно русских, и обращение к тяжелым иноязычным (главным образом – немецким) суффиксам. Собственно же русские, „краткие, сильные, поворотливые – опали, терялись”. Язык наводнили отвлеченные термины, заимствованные из международного, греко-латинского волапука. Еще одна беда: потеряна свобода образования наречий, „в которых таится главный задаток краткости нашего языка”. Наконец, исчезла синтаксическая свобода народной речи, поговорок, былин (ее-то и восстанавливала Цветаева). Русская фраза европеизировалась, отяжелела европеизмами, „а русский язык расчудесно обможется и без них”.

Эта статья дает первый ключ для оценки новизны и даже причудливости солженицынского языка. От произведения к произведению он набирает выпуклость, энергию, музыкальность, все более и более новые. Систематически прибегает он к эллипсису, питает пристрастие к анаколуфу. Все острее ошетивающийся неоруссизмами, сотрясаемый синтаксическими толчками (они идут от синтаксиса поговорки), перегруженный вводными предложениями и типографическими причудами, которые автор вводит для большей выразительности, он приближается иногда к ребусу, часто выглядит лингвистическим рифом, угрожающим и великолепным. Принимая в себя лагерные жаргоны, провинциальные говоры, яростно высмеивая „деревянный язык” идеологии, солженицынский язык обладает, вдобавок, огромным географическим охватом. Он вызвал крайне резкие протесты, особенно – в среде старой эмиграции, привыкшей к эстетизму „хорошего слога” (впрочем, эстетизм не мешал языку Бунина клокотать необузданными страстями).

На необузданную, неистовую силу солженицынского языка следует обратить особое внимание. Она граничит иногда с провокацией, с лингвистическими фантазмагориями. Илья Зильберберг замечает об *Одном дне Ивана Денисовича*: „К моему удивлению, оценка ее /повести/ не была единодушной

даже среди единомышленников. Находили и язык повести ужасным, „нерусским”, даже непотребно вульгарным”.

Неистовость, которую другие диссиденты (Синявский или Зиновьев) вкладывали в сюжет, Солженицын вложил в усилие поэтического обновления, которое своими языковыми формациями приводит на память Хлебникова. Она накладывает свою печать на синтаксис, мощно „руссифицируемый” в духе пословиц, которые одно время были для Солженицына „ежедневным чтением, как молитвенник”. Наречья вернули себе всю свою глагольную, словно бы магическую мощь: „со смертью впритирку”, „атака напрокид”, „в обмин”. Оживают и отглагольные существительные, умножая впечатление движения: „оглядь”, „промилъ”, „проступы”, „убывъ”, „перетаск”, „для сохрану”. Солженицын восстанавливает изначальную энергию слов.

Случается, что этот эллиптический синтаксис, этот заживший новою жизнью словарь приводят к тяжеловесным ребусам, как, например, в такой фразе из *Августа Четырнадцатого*: „Зависелась чердачная традиция называть мозговую часть квартирмейстерской — уж до чего, значит, в забросе!” Но чаще новая сила, впрыснутая в язык, оборачивается полным обновлением видения, искусства поэтического описания: „Ах, доброе русское слово — острог — и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, — сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках — и строгость, и острога́, и острога́ (ежовая острога, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже мятель в глаза, острога затёсаных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острога), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, — а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!” Какое замечательное хлебниковское стихотворение! Тем более, что затем происходит своеобразная метаморфоза — один рог стачивается, зато, после 1917, отрастает второй: „... Быстро нащупались первые хребтинки второго комля — и по ним, через раскоряченье, через „не имеете права!” стало это всё опять подниматься, сужаться, строжеть, рожесть — и к 38-му году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи: **тюрзак!**”

Тюрзак — „плоское” составное слово, лингвистический советизм, мерзкий для Солженицына; но одновременно — вполне реальное чудовище, потому что речь идет о сокращении официального термина ТЮРемное ЗАКлючение.

Упорство Солженицына в защите одного слова, одного значения слова — вопреки всем! против всех! — часто анекдотично. Он согласится признать свою ошибку лишь в том случае, если услышит это слово в ином значении из уст крестьянина...

Огромное сгущение энергии, солженицынский языковой массив тяготеет к коротким словам, к резким и кратким фонетическим сочетаниям. Название сборника *Из-под глыб* внушает отчаяние переводчику. Два кратких слова, фонетически богатых и замкнутых. В первом — предлоге — заключено отчаянное усилие приподнять второе, этот единственный, из свинца отлитый слог с „татарскою” гласной, к которой питали такое расположение Андрей Белый и футурист Бурлюк. (Заметим, что слово „глыба”, обозначающее сопротивление препятствия, — из числа любимцев нашего автора: „Бесконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную косную глыбу”.) И брошюра, появившаяся в 1979 году, „отрывок из седьмого дополнения к *Теленку*” (ни пятое, ни шестое не опубликованы) тоже бросает вызов переводчику своим названием — *Сквозь чад*. Можно предполагать, что никто до Солженицына не сопрягал эти два слога в пару — тягостную и неудобьпроизносимую, зловещую и тошнотворную.

В 10 томе своих сочинений Солженицын напечатал *Некоторые грамматические соображения, применённые в этом собрании сочинений*. Мы находим в них решительный протест против „сглаживания рельефа языка”, против орфографической реформы 1918 года, которую он называет „энтропийной”. Солженицын выступает за максимальную дифференциацию языка. Смирясь с уничтожением буквы „ять”, он „восстанавливает” „ё” (видимо, полагая, и полагая ошибочно, что эта буква была в широком употреблении до 1917). Он снова заступает за наречия с предлогами: вприкось, впристыдь, впробежь, втриноги, наиспыт и т. п.; он узаконивает просторечную практику склонения ино-

странных слов, руссифицирующую эти заимствования (так, он напишет: тень от жалюзей). Наконец, он объявляет реформу пунктуации. С одной стороны, он хочет избавить русский язык от „избыточных” запятых: „Читатель не должен встречать частокол тормозящих запятых, обременяющих фразу”. С другой — хочет „углубления интонации замедляющими запятыми”. Здесь, вероятно, самый важный пункт его реформ. Солженицын глубоко озабочен ритмом своей прозы. Он очень внимателен ко всем исследованиям (особенно — русским, самиздатовским) ритма его произведений. Каждый „узел” *Красного колеса* имеет свой преобладающий ритм, распадающийся на множество вариантов. То наматывающаяся без конца, одушевляемая страстью лучше разглядеть, не упустить ни одной детали восприятия, то собравшаяся в одно-единственное наречие, в один сгусток точного смысла, солженицынская фраза может быть определена, в первую очередь, как заряд энергии. От бесконечно долгих до сверхкоротких, его абзацы и главы — тоже варианты основной энергии. Два полюса — это нескончаемый монолог Николая Второго и построенный на анаколуфах, близкий к стихам Марины Цветаевой ритм коротких глав-„экранов”.

„Все, что колёсное есть — обозное, артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без направления. На двуколках, фургонах — раненые, сестры и врачи... Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется... Верховые казаки стеснёнными группами. Разрозненная артиллерия. Обреченная военная толпа”.

В этом отрывке из *Августа Четырнадцатого* мы находим пример поэтики анаколуфа, нервозности, взрыва и раскола (как расколота и взорвана сама армия), но, вместе с тем, лирического ритма сочувствия, ритма, все собирающего воедино.

Инженер, захваченный лингвистическим материалом, пламенный поклонник русского языка, чьи еще не исследованные глубины влекут его и чаруют, как они чаровали Белого, Хлебникова, Цветаеву, Солженицын — никак не „пассеист”. Еще никто и никогда не писал так, как он. Его громадная энергия вложена в письмо, обильное и тяжеловесное, исполь-

зующее украшения без всякой заботы об изяществе, с совершенством мастера, с полным презрением к опасности. Инженер принес свою методику: рассчитывает пропорции, оснащает корабль аппаратом математических отсылок, собирает и приводит в порядок картотеку, использует в полной мере метафоры. Но художник гарантирует этому тяжелому судну певучесть поэзии, музыкальный лад, особенно прекрасный в минуты созерцания; надувает паруса могучей поэзией негодования, увещания и, прежде всего, иронии — иронии, которую буквально держится все творчество Солженицына. Как он проповедует своему народу самоограничение, так же точно проповедует он отступление русского языка в его собственные пределы. Но уточним: в глазах Солженицына, пределы эти, неразработанные и неизмеримые, и есть самый исток энергии, источник, которого не смогли иссушить никакие превратности русской судьбы. Как повседневный труд, как пилка дров ненастным утром на шарашке, как военное решение под звездным небом, на котором ничего не прочтешь, язык для Солженицына — чудо энергии, воля всей нации, собранная в одном поэтическом мгновении. Тяжкий ратный труд, веселая работа каменщика Ивана Денисовича в лютый степной мороз — это, в конечном счете, если и не метафоры, то, может быть, хотя бы видоизменения первоначальной и единственно неиссякаемой энергии — русского языка.



Солженицын и Гейнрих Бёлль после высылки писателя в Германию →  
„Каждый лист завещания мы оба подписывали – я и он, но и более того, он это завещание взял и увез из Советского Союза”.

*К стр. 194:*

Летом 1969. В лесу на севере России.

„Разгоралось мирное утро, слышен смоляной розогрев, приглушенно перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы”.





## БЫТЬ РУССКИМ!

С юных лет Солженицын чувствовал, что на него возложена особая миссия — написать историю русской революции, которую столько искажали, фальсифицировали, скрывали. Ведь история революции не менее важна, чем история ГУЛага: без одной не понять другую. На пресс-конференции в Мадриде 20 марта 1976 года он сказал: „Практически, вот уже сорок лет, начиная с 1936 года, я работаю над моей главной темой — историей русской революции. Если я прерывал эту тему, то не потому, что мне хотелось заняться чем-то другим, а потому что жизнь меня бросала с места на место: то война, то тюрьма, то рак, то после появления *Ивана Денисовича* я стал получать со всей страны материалы, касающиеся концентрационных лагерей. Мне точно приходилось прыгать через самого себя, чтобы вернуться к своей главной теме. Теперь я только ею и занимаюсь, историей русской революции”.

X, 534

Как Сизиф, который одолел свой первый камень, Солженицын взялся за второй, еще более тяжелый: рассказать подлинную историю русской революции. Он все еще вкатывает этот камень. Вот уже свыше десяти лет он работает над гигантской эпопеей, настоящий герой которой — единственная героиня — это Россия, Россия большая, почти стертая с лица земли интернационалистами, которые ее ненавидят. В *Архипелаге*, размышляя над судьбой генерала Власова, Солженицын обронил, что самая горькая участь на свете — быть русским.

Сначала Солженицын задумывал эпопею в четырнадцать или даже в двадцати „узлах”. Сегодня, по-видимому, он не заглядывает дальше первых четырех „узлов” в восьми томах. В зависимости от времени, которое Бог уделит писателю, эпилог придется на 1917 или 1945 год (последний — срок смерти Воротынцева, который наворожила ему цыганка). Сотни персонажей, тщательно „разнесенных по карточкам”. Но есть у автора и намерения, почти что впрямую дидактические. Главы-обзоры, чередующиеся с монтажами

газетных материалов (техника, заимствованная у Дос Пассоса) и с главами-размышлениями (по толстовскому образцу) должны обеспечить педагогический эффект. Отрывки из народных песен и официальных гимнов составляют музыкальное сопровождение текста – как в *Капитанской дочке* Пушкина.

Другая особенность этой исполинской эпопеи – ее географическая „центростремительность”. Конечно, будут и эпизоды, происходящие в столицах. Но главные действия развернутся в других местах. Начало *Августа Четырнадцатого* протекает в Ростове-на-Дону, на Кубани, в юго-восточной России, колонизированной казаками и крестьянами из среднерусских краев. Саня Лаженицын любит эту новую Россию, трудолюбивую, просторную, степную, резко пахнущую травами и зноем. „Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор, как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию – ту, что начинается только от Воронежа”. Ибо из-под Воронежа пришел пращур Солженицына, согнанный со своих мест при Петре Великом и поселившийся в диких степях за Кумой, на русском „Дальнем Западе”, где каждый жил на свой вкус и лад, отдаленный от соседей обилием земли. Эта степная Россия – страна русского человека непокорного, независимого, предприимчивого. Солженицын делает из нее колыбель для своей книги. *Тихий Дон* – это те же края, только у казаков. Солженицын влюблен в книгу Шолохова, потому что его собственная эпопея „соседствует” с нею. Впрочем, как известно, Солженицын обвиняет Шолохова, что тот „украл” *Тихий Дон* у казачьего писателя Крюкова, который вероятно появится в одном из „узлов” (автор признался в этом в минуты откровенности, чрезвычайно у него редкие).

Россия Солженицына – это его родной Юго-Восток, западный фронт во время войны и северная Сибирь. Центральная Россия для него – мифическая колыбель нации; это Россия, о которой мечтает Олег Костоготов, которую с сыновним почтением открывает рассказчик в *Матренином дворе*, средняя Россия, умиротворяющий пейзаж, в котором церкви, „царевны белые и красные”, взбегают на пригорки, „поднимаясь над соломенной и тёсовой повседневностью”.

Но эта внутренняя Россия — оскверненное царство: церкви превращены в лесопилы, сияющие колокольни выпотрошены. *Крохотки* воспевают эту Россию-Мать, как блины воспевают Китеж, проглоченный водами город. Восхищаясь озером Сегден, Солженицын пишет: „Вот тут бы и поселиться навсегда... Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли”. Но озеро захвачено „лютым князем” — местной важной шишкой — и его „злодеями”. Так Солженицын приходит к старой теме России, плененной драконом; тему эту уже использовали символисты, а после них Пастернак в *Докторе Живаго*. Итак, она недоступна, недостижима, эта срединная Россия, разом и пленница и миф, Россия лесная, которую символизирует Агния в *Круге первом*, которую он никогда не упускает из виду в сердце, и память сердца привязывает все его творчество к изначальной стихии — к матери-лесу. Но театром действий мифическая Россия не будет.

Поиск истины, поиски Святого Грааля получают смысл вполне точный: это поиски России. Замаскированные в *Иване Денисовиче*, этнографические в *Матренином дворе*, нравственные и философские в *Круге первом*, поиски эти становятся главной темой в *Августе Четырнадцатого*, а затем неотвязной и даже навязчивой идеей интервью и выступлений Солженицына, который основывает в Вермонте Библиотеку русской памяти (в ней он собирает неизданные мемуары современников).

Из всех поэтических описаний России у Солженицына самое трогательное — это деревня Рождество-на-Истье, на границе между Московской и Калужской областями, где он жил в подолгу в годы 1970-1973. Глава 44 нового варианта *Круга первого* изображает со щемлящим лиризмом красоту того „нечто”, которого никогда не узнают швейцарцы,<sup>1</sup> — „простора такого объёмного, что никак его нельзя было в два глаза убрать”; эта беспредельность „обмыкается” вдали зубчатым лесом. „... Во все стороны было видно. И... дышалось легко!” В середине простора — березовая роща: кладбище, настоящее русское кладбище, заброшенное, но привольное и прекрасное в этой своей заброшенности. А чуть подальше искалеченная, жалкая деревня — почти гого-

I, 336

левская — открывает двум гуляющим (Володину и его свояченице Кларе) скорбное зрелище изуродованной, превращенной в склад церкви: церкви Рождества. Этот позор, пятнающий такую красу, и есть чудо России, крестьянской, христианской, „есенинской”, зарезанной неверным. Кларе кажется даже, что ее зять похож на Есенина: возвращается из Европы в растерянности и встречает Россию, потерявшую свой облик и свою русскость... И все же эта неузнаваемая Россия, отданная на поругание захватчикам и „лютым князьям”, возвращает Иннокентию Володину нравственное сознание и сообщает смысл его жертве.

Эта заброшенная церковь Рождества на широком, вольном окоеме, замыкающемся лесом и светом, — русское Рождество, смиренное и обезображенное, в его противостоянии Рождеству западному, изобильному, коммерческому, какое знает дипломат Володин. Так начинается для Володина познание истинной Руси, тут же дополняемое пониманием бесполезных жертв, которые ей были навязаны: обелиск напоминает о „воинах Четвёртой дивизии народного ополчения”, беднягах, брошенных на фронт с одной винтовкой на четверых или пятерых... Самая горькая участь на свете — быть русским; но в ответ на это — в *Теленке* — жить можно только в России!

Таким образом, двигатель исторического замысла Солженицына — это загадка России: обессиленной и могучей, чистой и замаранной, рабски подражающей чужому и распахивающей нощь грядущего... В самом деле, не утверждал ли он в Гарвардской речи, что русская натура, пройдя сквозь испытания, к которым принудил ее дракон, стала сегодня чище и мужественнее западной? И эти два лика русской судьбы для Солженицына нераздельны: падение и восхождение душ, грязь и чистота. Старинный парадокс славянофилов, который автор *Архипелага* сумел показать лучше, чем его предшественники в девятнадцатом веке...

Символ, знаменующий разрушение русской отчизны, — колесо или жернов; он возвращается часто и становится заглавьем солженицынской эпопеи: *Красное колесо*. То это жернова, на которых „перемалывается наша душа” (*Архипелаг ГУЛаг*, Часть первая, гл. 4), то „кручение большого

колеса”, решающее судьбу смертников (там же, гл. 11). В *Августе Четырнадцатого* появляется настоящее колесо огня — горящие крылья ветряной мельницы, которые вспыхивают в самый миг встречи двух героев романа — крестьянина Арсения Благодарева и офицера Георгия Воротынцева. Огонь касается крыльев, лижет их своими пурпурными языками, и вот уже вертится огненное колесо. Странное вращение, напоминающее огненные колеса у пророка Иезекииля, с ободьями полными глаз, преследующие живых. Дальше, в главе 30, обезумевшее колесо лазаретной линейки

„ — катится, озаренное пожаром!  
— самостийное!  
неудержимое!  
всё давящее!  
КОЛЕСО!!!”

XI, 322

И то же колесо, только на этот раз небесное, когда Самсонов принимает решение отступить и всё шатается, колеблется.

Обращаясь к древнему библейскому символу колеса, Солженицын выводит на Страшный Суд Россию века сего. В старинной византийской базилике в Торчелло, на венецианской лагуне, где сохранились самые первые христианские мозаики, под Христовом-Вседержителем, над ангелами, взвешивающими души, — красное колесо...

Помещенная под этим огненным зодиаком, солженицынская Россия обречена на судьбу, которая будет решающей для всего мира. Станным образом, Солженицын вкладывает это убеждение в уста не только защитников России, но и ее врагов. „Ключ мировой истории лежит сейчас в разгроме России” — это мысль Парвуса из *Ленина в Цюрихе*. А вот что заявляет сам Солженицын журналисту Сапизту: „Вся орбита земной жизни изменится, когда произойдут изменения в советском режиме. Это сейчас — узел всей человеческой истории”. Можно найти и другие параллельные высказывания. Например, в *Круге первом* Сталин в своем нескончаемом ворчливом монологе говорит, что не доверяет сытым; Солженицын без устали обличает сытых и пресытившихся, начиная с *Матрены* и до *Из-под глыб*, и в русской традиции поста усматривает истинное призвание России. Возможно, этот удивительный параллелизм объясняется тайной и диа-

X, 369



вольской идеей двойственной одержимости. Враг заимствует у настоящих рыцарей их оружие и их язык (Сталин вспоминает язык литургии, слова молитв, некогда выученных в семинарии). И Ленин: он толкует о неистощимом терпении русского народа и отчаивается, он радуется русским потерям, подчеркивая ногтем сообщения в газете, и скорбит об утрате русского огня, пылавшего в восстаниях Разина и Пугачева. Но этот огонь русской души Солженицын и почитает и восхращает. Русь восставшая — это для него Россия старообрядцев, упорных хранителей старой веры, которые умирали от рук петровских солдат или приносили себя в жертву в массовых самосожжениях.

Вообще старообрядцы — пробный камень русского патриотизма. Кто пренебрегает ими, осуждает их, насмехается над ними, у того не может быть русского сердца. Это применимо не только к нетерпимым православным, высказывающимся на страницах *Вестника русского христианского движения*, но и к советскому поэту Вознесенскому, который в одном стихотворении сравнивает американских самоубийц в Гайане с раскольниками: „... В этом изуверском саморазложении, гниении, якобы увидел — самосожжение старообрядцев, — а? Старообрядцы погибали, чтобы не изменить своей вере, чтоб их пытками не вгоняли в чужую! — этих марксистов никто не трогал, никуда не вгонял, весь их конфликт с Америкой выдуманный. Вот как он унизил старообрядчество — чтобы держаться в моде, потому что американские газетчики так сравнивают. Деревянное сердце, деревянное ухо”. Дважды, обращаясь к своим православным единоверцам, призывал Солженицын прославить национальный дух, сохраненный старообрядцами. Посетив старообрядческую общину на Аляске, он восклицает: „Видеть, как сохранился их национальный облик, народный нрав и слышать их сохранённую исконную русскую речь. Нигде на всём Западе и далеко не везде в Советском Союзе почувствуешь себя настолько в России, как среди них”.

Русь восставшую обнаруживает художник Кондрашев в русском пейзаже — Русь крестьянских бунтов, Русь народо-вольцев, но также и Русь Ленина (впрочем, упоминание Ленина среди огненных душ исчезает в „полном” варианте

X, 361

X, 224

*Круга первого*). Не Ленина-идеолога и книжника, но Ленина неистового, хотя и обуздывающего свои страсти, упрямого, сурового, неимущего. По мере того, как появляются отрывки из последующих „узлов”, начинает казаться, что подлинный противник Солженицына, доподлинно ответственный за катастрофу 1917 года, — не столько большевик, сколько русский либерал. Только Ленин, задыхающийся от нетерпения, обстоятельствами прикованный к лилипутской Швейцарии, способен фыркать: „И что же можно вымесить из российского кислого теста! И зачем он родился в этой роговой стране?! Из-за того, что четверть крови в тебе русская, из-за этой четвертушки привязала судьба к дряной российской колыхаге!”

ЛЦ, 87

Но „либерал”, произносящий прочувствованные речи о родине и одновременно действующий против нее, как настоящий диверсант, — это „теплый”, о котором говорит „Апокалипсис” и которого Солженицын извергает из уст своих. Одна книга сыграла, по-видимому, существенную роль в формировании исторических взглядов автора *Красного колеса*, — это *Russia 1917* Джорджа Каткова, английского историка (и русского эмигранта). Катков исследовал, в частности, ожесточенную кампанию, которую русские либеральные круги (франкмасоны, кадеты и другие) вели против самодержавия, роль Союза городов и иных организаций, которые резко и непрерывно критиковали власть. Катков исследовал и германскую политику помощи русским революционерам („пломбированный вагон” был лишь незначительной деталью этой политики), и роли тех, кто служил ее орудием, проводником. Кстати, авторы биографии Парвуса, на которую Солженицын с благодарностью ссылается в приложении к *Ленину в Цюрихе*,<sup>2</sup> были учениками Джорджа Каткова. Главы 56 и 63 „узла второго” открывают всю ярость солженицынского осуждения либералов: никогда его ирония не была более весомой, а вражда к парламентаризму — более откровенной. Парламентский цирк обнаруживает настоящую цену комедиантам вроде Чхеидзе или Керенского и клеветникам России вроде Милюкова. Солженицын-рассказчик не отстает ни на шаг от лидера „прогрессивного блока”: поднимается вместе с ним на три-

буну, саркастически прерывает его цветистые периоды, восстанавливает в кратких репликах в сторону простую психологическую истину, уличает его на месте преступления в клевете, злорадно подчеркивает его смешные галлицизмы... И не то, чтобы Солженицын не видел слабости или неспособности царской власти, напротив, но он скорбит о ней: после смерти Александра Третьего энергия династии иссякла, не к трезвым голосам стали прислушиваться, а к шепоту льстецов и острословию краснобаев, да и сами разучились говорить в полный голос. „Этюд о монархе”, глава, прибавленная к *Августу Четырнадцатого*, – бесконечный монолог Николая Второго, из которого явствует и добрая воля императора, и его неспособность решать что бы то ни было. (Писатель использовал *Дневник Николая Романова*, опубликованный в 20-е годы *Красным архивом*.) Николай Второй – кроткая душа, он влюблен в древнюю Русь (любимый его монарх – благочестивый Алексей Михайлович), но он не способен различить ту единственно верную линию, которая ведома Провидению и скрыта от простых смертных. Этот солженицынский Николай Второй знает корень русского зла – враждебность, даже ненависть русского образованного класса, интеллигенции к родине. Солженицын доходит до того, что приписывает ему свой план развития России в восточном направлении, но он признает недостатки его характера, какое-то буржуазное малодушие, которого нельзя не осудить в самодержце всероссийском, оказавшемся в безнадежном, безрассудном кольце. Себя же Солженицын отождествляет лишь с немногими умеренными монархистами, например – с октябристом Шиповым, поборником идеи нового Земского собора, вроде тех, что созывали когда-то Великие князья московские...

Густо насыщенный фактами и намеками, этот долгий монолог, долгое и пристальное вглядывание в прошлое, показывает историческую технику Солженицына, „тяжелую” технику, требующую необыкновенного накопления всевозможных сведений, и прежде всего – зрительных. Эта тяжело нагруженная история склонна перегружать себя еще больше, когда рассказчик-судья сам не решается вынести свой приговор. Если ни нежность (к Самсонову), ни нена-

висть (к Парвусу), ни презрение (к Милюкову) не одушевляет его, Солженицын как бы и сам теряет ту единственно верную нить, которая, как он утверждает, рассуживает людей и их историю. Трудности и медленность, с какими создавались первые „узлы” *Красного колеса*, подчеркивают двусмысленность той двойной роли, которую он на себя берет, — романиста и историка. Большинство авторов исторических романов заимствует, по мере надобности, из мемуаров современников и из объяснений историков. Солженицын от этого отказывается категорически. Он читает, делает заметки, разносит по карточкам все доступные ему тексты — Ленина, Милюкова, Маклакова, многочисленных авторов из первой эмиграции; он обращается ко всем еще живым свидетелям; он едет сам побеседовать с тем или иным ветераном белого движения или с дочерью министра Временного правительства. Но его главная идея — в том, чтобы опровергнуть ошибочные тезисы и положения, принятые повсюду. Эту работу вполне можно сопоставить по намерениям с трудом Мишле, пересматривавшего все взгляды на французский народ на всем протяжении его истории. В соединении с физиологической потребностью все увидеть, ощупать, услышать, вернуть „узлам”, вынутым из материала истории, их неисчерпаемую плотность, эта главная идея, которая, собственно говоря, по плечу скорее богу, чем человеку, делает солженицынский план, поистине, титаническим. Автор и сам, имея в виду размах чисто материальной, физической задачи, которую он себе задал, нередко говорит о своего рода спортивной гонке со смертью.

Солженицынские выступления в мае 1978 и феврале 1979 ясно показывают, к какому выводу привели его исторические разыскания, — к осуждению февральской революции 1917 года, „либеральной” революции. („Вот это и есть — одна из центральных легенд. Если вникнуть в повседневное течение февральских дней, в каждую мелочь и во всю реальную обстановку, то сразу становится ясно: никуда, кроме анархии, она не шла. Она заключала противоречие в каждом своем пункте. Поразительная история 17-го года — это история самопадения Февраля. Либерально-социалистические тогдашние правители промотали Россию в полгода до полно-

го упадка”). Чем дальше продвигается Солженицын в своей работе, тем больше он убеждается, что все было извращено. Западные историки плетутся в хвосте у советских идеологов... Все подделано, истолковано вкривь и вкось, а то и прямо вывернуто наизнанку. Солженицын восстанавливает значение Столыпина<sup>3</sup> и его земельной реформы 1906-1910; поддерживает утверждение, будто Сталин в молодости был на жаловании у охраны; разрушает миф о корниловском мятеже, искусственно раздутый в *Тихом Доне* (согласно D\*, этот эпизод представляет собою очевидную „вставку”). Русская „модель” трагически предвещает будущее: Запад 1978-го года — это Россия 1880-го, с ее террористами, сбившейся с пути интеллигенцией и тем патологическим нежеланием смотреть в глаза „действительности”, которое обличали Бердяев и его соавторы в знаменитом сборнике *Вехи* в 1909 году. Самоуничтожение наших либералов и социалистов перед лицом коммунизма, объясняет Солженицын, повторилось в мировом масштабе, только растянулось на несколько десятилетий; происходит грандиозное повторение того же процесса самоослабления и капитуляции. Теперь уже не Мюнхен, а Февраль становится прообразом капитуляции либерального типа... В *Круге первом* мы находим такое „математическое” описание русской судьбы: „Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний”. Истинный виновник, „либерал”, „теплый” из „Апокалипсиса” („болтун” Ленина, „бородач” у Сталина) еще не названы. В 1979 он — главная цель.

I, 41

Этому злокачественному процессу Солженицын противопоставляет свое видение России — потаенной и возрождающей себя и весь мир, России, которую можно определить как „славянофильскую”. Каждое произведение Солженицына — еще один шаг на пути отвоевания подлинной русскости. В *Одном дне Ивана Денисовича* инородец Цезарь Маркович (еврей? грек?), придурок и заблудившийся интеллигент, противопоставит мужику .Ивану, неутомимому труженику,

„залежному” христианину, который, может быть, и забыл, какую рукою крестятся, но сохранил внутренний свет, и Алёшка-баптист,<sup>4</sup> сосед по вагонке, ему это растолковывает. В *Матрённом дворе* мерзкому, эгоистичному, очерстевшему колхозному начальству противостоит простая женщина, в которой воплощена абсолютная самоотверженность, „русская женщина”, которая „не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни... не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...”

III, 158

Тема отказа от „укоренения” в вещах и в жизни выступает — фоном — и в *Раковом корпусе*. Русские, сосланные на Восток, в Казахстан, самопроизвольно, инстинктивно усваивают урок воздержности и аскетизма, который этот Восток им преподает. Чета Кадминых в поселке Уш-Терек служит Олегу примером: „Как это удивительно, что русский, какими-то лентами душевными припеленатый к русским перелескам и полям, к тихой замкнутости среднерусской природы, а сюда присланный помимо воли и навсегда, — вот он уже привязался к этой бедной открытости, то слишком жаркой, то слишком продуваемой, где тихий пасмурный день ощущается как отдых, а дождь — как праздник, и вполне уже, кажется, смирился, что будет жить здесь до смерти”.

В 1976 году, в интервью японскому телевидению, которое вел Госуке Утимура, тоже бывший советский зэк, а ныне профессор университета „София” в Токио, Солженицын рассказал, что на шарашке он заинтересовался дальневосточной философией, и в частности мыслью Ямага Соко: „Я... находил там поразительные вещи. Ну, например, утверждение, что тот, кто не умеет экономить одну минуту, для того пропадет и вечность. Я сам всегда так живу. И потом: каждую минуту жить так, как если бы тотчас и умрешь”. В своих воспоминаниях о Солженицыне Лев Копелев рассказывает, что в 1948 году, в Марфине, он разносил по карточкам афоризмы Лао-цзы и Конфуция. Значит ли это, что в солженицынской мысли есть элемент „евразийства”? Во всяком случае, есть точка соприкосновения между духовной Россией, Россией самоограничения, и зен-буддистской Японией или Китаем Лао-цзы. Благодаря лагерю русский „ориента-

X, 279

лизм” смог прощести: „В лагере нас с Вами насильно поставили в это положение. Что ж у нас осталось как не душой заняться? Но в лагере нас заставили решёткой. А смысл в том, чтобы человек сам себя ограничил, духом”.

В *Круге первом* дракону бюрократии противостоит ковчег рыцарей шарашки, „банкету” сытых (у Макарыгиных) — почти что нематериальный „банкет” розенкрейцеров, „новых декабристов” (Абрамсон читает отрывки из десятой главы *Евгения Онегина*, неоконченной и зашифрованной). Перед этими избранниками, аристократами духа открывается — хотя и совсем в иных масштабах, нежели в 1825, — судьба декабристов: чистая жертвенность в противопоставлении власти, которая кажется безграничной.

Наконец, главная тема *Августа Четырнадцатого* — русский человек. России придворной (генералы Ставки), России ханжеской (великий князь), России ура-патриотической противопоставляется Россия жертвенная, благочестивая, древняя, Россия Самсонова („Эта обнажённая голова с возвышенной печалью; это опознаваемо-русское, несмешанно-русское волосатое лицо, чернедь густой бороды, простые крупные уши и нос: эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью; этот проезд медленный, царский, допетровский, — не подвержены были проклятью”) и русских мужиков, которые на страшном „току” первого в двадцатом веке великого сражения сами, без вмешательства „властей”, возрождают старинный русский „собор” — крестьянский „мир” возрождается в глубине прусских лесов (мы уже видели, что для рассказа об этом Солженицын обращается к структуре русской былины).

Как и Лев Толстой (на шарашке у него был том Толстого, испещренный бесчисленными пометками), Солженицын питает особое расположение к военным подвигам: русский человек — настоящий воин, потому что он полностью забывает себя перед лицом смерти. Восстанавливается союз крестьянского люда, символизируемый, с одной стороны, Арсением Благодаревым, Агафоном Огуменником, Мефодием Перепелятником или еще силачом Качкиным, а с другой — рыцарями, „новыми декабристами”, „богатырями”, такими, как Нечволодов (настоящий монархист, искренний),

Крымов, Кабанов. Они – прирожденные командиры, а мужик – прирожденный воин, созданный для военной аскезы.

Так вырисовывается „другая” Россия, допетровская, где народ и „рыцари” ладят без видимой субординации. Но эту Россию предадут честолюбивые Жилинские, трусливые Ключевы и, в особенности, „западники” (которых, словно троянского коня, привели „либералы”<sup>5</sup>), символизируемые живчиком Ноксом, который путается в ногах у Самсонова и следит за тем, чтобы неподготовленные русские армии были отправлены на бойню как можно скорее...

Это ожесточение Солженицына против русских либералов восходит, возможно, к оригинальному и страстному мыслителю конца девятнадцатого века Константину Леонтьеву. Леонтьев наиболее остро сформулировал разрыв между народом и космополитской элитой (противопоставление, уже выдвинутое Иваном Киреевским, но в более сглаженной форме: народ – публика): если пренебречь оттенками, говорит он, то русское общество можно разделить на две половины – народную, которой не ведомо ничего, кроме русского, и космополитическую, которая не знает ничего русского. У Леонтьева мы находим, с одной стороны, мысль, что либерализм, по сути своей, враждебен национальным традициям, и повсюду разлагает нацию, медленно и сообразно законам, но наверняка, а с другой – что „прогресс” может быть попятным движением во всех планах (идея, которую Солженицын подхватит и разовьет, присовокупив к ней знаменитый отчет Римского клуба и апологию нулевого роста). Историсофия Леонтьева отличается от солженицынской своей повернутостью к Византии: развитие России она предвидит в южном и юго-восточном направлении („проливы” и Константинополь). Солженицын отвергает средиземноморскую направленность русского будущего и, отказываясь от лстивых соблазнов эллинской цивилизации, выступает защитником русского Северо-Востока, грубой и суровой северной Руси, где умер в ссылке протопоп Аввакум, Сибири – всего того, что он называет „наш Север – издавнее хранилище русского духа и, предвидимо, самое верное русское будущее” (*Письмо Патриарху*). Поразительно, что и Леонтьев, несмотря на свой византийский эстетизм, при-



знавал в старообрядцах один из самых спасительных и надежных тормозов прогресса. Солженицын подхватывает эту похвалу старой вере, неизменной бунтовщице, символу русского духа твердости, аскетизма, самоограничения. Леонтьев был сторонником культурного разрыва с Европой: русской мысли не бывать до тех пор, пока мы не перестанем быть европейцами, говорил он. Он обличал своеобразное русское самоненавистничество, существующее с давних времен (Курбский в шестнадцатом веке, Котошихин в семнадцатом), но обретающее самую широкую известность в девятнадцатом столетии — у Чаадаева, в его *Философических письмах*; отменно резюмируется оно в четверостишии русского иезуита Печерина:

Как сладостно отчизну ненавидеть!  
И жадно ждать ее уничтоженья!  
И в разрушении отчизны видеть  
Всемирного денницу возрожденья!

„Славянофильство” Солженицына начинается с неразрушимой связи со страной, какова бы ни была ее участь. Муравейник, охваченный огнем, — не бросают! Чтобы объяснить подъем русских людей, возвращающихся в Москву после пожара 1812 года, Толстой в *Войне и мире* вспоминает разоренную и тут же заново отстраиваемую „муравьиную кочку”: „... Разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки...” Солженицын подхватывает этот образ в одной из *Крохоток*: „Но странно: они /муравьи/ не убежали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там...” И не частицу ли своего собственного раздражения вкладывает Солженицын в слова Ленина-эмигранта: „Эмиграция — это злое гнездо, которое все время шевелится и шипит”? Изнутри России, из ее недр должен, по Солженицыну, просиять „духовный свет” нации. Он не только берет под защиту славянофилов девятнадцатого века, этих „ретроградов” и „простофиль”, но и выступает в поддержку их идей: сохранить проселочные дороги, маленькие фабрики, одноэтажные дома, навоз и т. п. Все это пред-





ставляется ему вполне злободневным, он предлагает даже восстановить заставы при въезде в города, чтобы закрыть доступ автомобилям...

Мы находим у Солженицына и другие славянофильские оппозиции: казаться – быть, разум – рассудок (первый – духовный и животворящий, второй – схематический и иссушающий; оппозиция эта заимствована у Шеллинга). Россия не знает красноречия, словесных ухищрений, юридических тонкостей.<sup>6</sup> Богослов Федотов писал в одной из статей 20-х годов, собранных посмертно в книге *Новый град* (вышла в Нью-Йорке в 1952), что Россия всегда была повернута скорее к „софии” (мудрости Божией, являемой в Творении), нежели к „логосу”. Россия, пишет Федотов, подобна немой, которая видит неземными глазами множество таинств, но поведать о них может только знаками. Солженицын усваивает мысль о полярной двойственности русской природы (она проходит через *Круг первый*), о парадоксальном слиянии кротости с насилием (идея *Братьев Карамазовых* Достоевского) и, как Федотов, видит синтез, снимающий противоречие, в русской призванности к жертве. Он повторяет также оппозицию интеллигенция – народ (первая – податлива, второй – непоколебим). По Солженицыну, русская интеллигенция (некий орден, религией которого было Дело) выродилась в образованщину, советскую лжеинтеллигенцию (более, чем податливую, готовую на любую капитуляцию).

Определяя нацию и ее русскость, Солженицын сталкивается с проблемой скрещивания культур. Его собственное представление о русскости как о сочетании твердости с кротостью побуждает его к отказу от русского православия, слишком часто смирявшегося перед властью. Этому русскому „византийству” он, очевидным образом, предпочитает старую веру, старообрядцев Заволжья,<sup>7</sup> трудолюбивых и неуступчивых, готовых на жертвы и склонных к „самоограничению”, добровольно всходивших на костер в восемнадцатом столетии, честных и богобоязненных купцов – в девятнадцатом. „А мысль об общественном самоограничении – не нова. Вот мы находим её столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы”.

Призыв к мученичеству, высокая оценка личной жертвы склоняют Солженицына к религии менее греческой и более русской, согласной с „лесными тайнами” Агнии. „Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния, высушивание этой способности нашей” („Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни”).

Иноземный вклад в русскую историю — также предмет постоянных его раздумий. Его концепция русской революции, в целом, противоположна бердяевской. Бердяев в *Русской идее* приписывает разрушительную ярость большевистского режима русской традиции максимализма, утверждает, что в Петре есть черты сходства с большевиками. Что касается Солженицына, то он развивает тезис об иностранности революции — привозного учения, охранявшегося латышами и венграми, навязанного народу, который в двадцатом веке пострадал больше всех других народов.<sup>8</sup> *Ленин в Цюрихе* уточнил позицию Солженицына. Он настаивает, что раскрыл в этой книге события, которые определили ход истории в нашем веке, но оставались тщательно скрытыми от глаз историков, причем линия, взятая Западом, лишь способствовала такому невниманию. Речь идет о сговоре между имперской Германией и русским эмигрантом Ульяновым. Неоспоримо, что Солженицын вкладывает частицу самого себя в этого противника, которого он называет своим главным героем и от которого не отходит ни на шаг. Не оттого ли, что, парадоксальным образом, ленинское презрение к „либералу” близко ему самому? А иначе — зачем это, вроде бы незаметное, сравнение Ленина с великими реформаторами, с Цвингли, на статую которого перед церковью в Цюрихе Ленин бросает одобряющий взгляд? Не разделяет ли он даже ленинской ненависти к Плеханову, нанимающему богатую виллу в Женеве, и его „освежающей” ярости, когда этот крупный буржуа от большевизма выпроваживает его ни с чем, — буржуа, по-видимому, ни в чем не разделяющий жизненного опыта Солженицына, который, как и Ленин, окружен обывателями и „пигмеями”?..

Борис Суварин, посвятивший всю жизнь исследованию

большевизма (а прежде того – сам большевик), написал для журнала *Эст-Уэст* (1 апреля 1976) подробную и гневную рецензию на *Ленина в Цюрихе*. Бывший коммунист и суровый эрудит в одном лице, он обнаруживает у Солженицына бесчисленные ошибки. Вот некоторые из них: личная жизнь „товарищей” для тогдашних социалистов не существовала (стало быть, упоминание об Инессе Арманд непристойно); Ленин всегда старался не подавать ни малейших поводов к обвинениям, стало быть, он не мог соблазниться шарлатанством Парвуса; „пломбированный вагон” не был запломбирован; находясь, вопреки собственному желанию, под воздействием советской историографии, Солженицын неверно оценивает значение ленинской группы в Циммервальде. В целом, Суварин упрекает Солженицына в том, что он гальванизирует миф, милый сердцу „ленинофобов”. Но действительно ли Солженицын такой ленинофоб, каким он представляется с первого взгляда? С Ленина, кипучего, полностью преданного Делу (и в романе с Инессой Арманд – тоже), Солженицын пишет портрет, если можно так выразиться, с двойным дном. Ибо за спиной Ленина стоит вдвойне дьявольская фигура – еврейско-русско-немецкий социалист Парвус (собственно – Гельфонд), преуспевающий делец, из которого Солженицын делает тайного, сатанинского подстрекателя двух русских революций: в 1905 он был правой рукой Троцкого. Борис Суварин неопровержимо доказывает, что Солженицын без всяких оснований преувеличивает роль Парвуса в 1905-м году. Совет никогда не был делом рук Парвуса (а у Солженицына он заявляет: „Мои Советы уже постепенно становились властью”...) Парвус словно „заряжен” грехом ненависти к русскому народу, и, конечно, не случайно, что он еврей на все сто процентов (Ленин – только на четверть...) Парвус предлагает Ленину свои услуги. „Чего не хватало Ленину – это широты. Дикая, нетерпимая узость раскольника гнала попусту его огромную энергию... Эта узость раскольника обрекала его быть бесплодным в Европе, оставляла ему только русскую судьбу, но значит и делала незаменимым для действий в России”. Парвус искушает Ленина. Странная сцена, в которой, сидя на железной, спартанской кровати Ульянова, Парвус „показы-

ЛЦ, 120

вает ему все царства мира и славу их”. Оба одержимы ненавистью к России: взбунтовать всех инородцев, подбить солдат, чтобы перерезали офицеров, направить германский империализм против русского... „Бегемотский”, чудовищный, похотливый, в жилах, казалось, не кровь, а вода, зеленая, как его кожа, Парвус – Искуситель. Из малодушия, из расслабленности подпольщика, боящегося снять маску, Ленин отказывается наполовину от предложения Искусителя, однако уступает ему одного из своих сообщников, Ганецкого. Многие комментаторы отметили странность этой сцены, где на первый план выведен безродный еврей, алчный и чудовищный.

Использует ли здесь Солженицын – сознательно или бессознательно – старинную антисемитскую „модель”? Скажем скорее, что он ищет воплощения своему тезису об инородности революции. Он отрицает „русскость” революции, он должен, следовательно, изгнать ее, как изгоняют беса. Парвус – фигура не столько еврейская, сколько „сатанинская”, „бегемотская”: такое бескорыстие в продажности, такая энергия в организации хаоса кажутся Солженицыну поистине демоническими. Парвус рядом с Лениным – это Петр Верховенский рядом со Ставрогиным. Смещение культур и историй представляется Солженицыну чем-то совершенно нестерпимым. И он пытается заклясть его.

Ради очищения русской нации Солженицын готов вернуть Россию в ее „внутренние покои” – к суровой необъятности Севера и Северо-Востока, старинных колоний средневековой Новгородской республики. „Северо-Восток – это напоминание, что мы, Россия, – северо-восток планеты, и наш океан – Ледовитый, а не Индийский, мы – не средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего!” Этот уход к трудной жизни будет одновременно и географическим отступлением, и укреплением духа. Вся солженицынская похвала отступлению противостоит традиции конца девятнадцатого века – притязаниям на Константинополь. Достоевский, который много содействовал расцвету мифа о завоевании „Второго Рима” „Третьим”, в последнем *Дневнике писателя* меняет точку зрения совершенно и ратует за противоположное направление – сибирское,<sup>9</sup> северо-восточное, о котором го-

ворит Солженицын. Наоборот, осрамившиеся „либералы”, тот же Милюков, в 1917 году преступно затягивали войну ради прекрасных глаз союзников, демагогически эксплуатируя старые притязания.

Солженицын вдыхает новую жизнь в старинное начало, в котором славянофилы девятнадцатого века видели своеобразие русской природы, – в крестьянскую общину. Конечно, к „миру”, каким он был прежде, возврата нет, но раз „праведник, без которого, по пословице, не стоит село”, вышел жив из всех испытаний русской деревни, значит, нравственные основания сохранились. Есть у Солженицына и анархические мечтания; так, он ссылается в *Раковом корпусе на Взаимную помощь как фактор эволюции* Кропоткина (1907). Но утопические мечты имеют у него религиозную основу, они связаны с ожиданием царства Божия.

Солженицын скрещивает оружие с теми, кто утверждает, будто русский народ культурно мертв, в частности – будто умерла крестьянская форма его культуры. В интервью 1979 года он цитирует эмигранта Янова и ведет скрытый спор с Андреем Синявским и его журналом *Синтаксис*. Говоря, что нынешняя русская эмиграция – не более, чем хвостик еврейской, он спорит с русскоязычными израильскими журналами, где, например, жестоко высмеивается „деревенская проза”, самое живое из течений в сегодняшней советской литературе.<sup>10</sup> Полемика, ограниченная крайне узким эмигрантским кружком, представляется – в ложной перспективе лингвистического гетто этой же самой эмиграции – настоящей „травлей” России! Подлинный язык, подлинный русский физический тип („чистые, как озера”, глаза олонечских мужиков), русская музыка, русские нравы – всё идет от Руси крестьянской! И, как это ни парадоксально, „почвенничество” Солженицына приводит его к совершенно искренней апологии крестьянской ветви современной советской литературы.

Уже в 1972 году он громко приветствовал Шукшина, Можаяева, Тендрякова, Белова, Солоухина, Юрия Казакова. В февральском интервью 1979 года он идет еще дальше – заявляет, что пять или шесть советских писателей (имен он не называет, чтобы им не повредить) представляют собою



сегодня вершину мировой литературы. Можно биться о заклад, что в числе этих избранных — Распутин, Белов, Астафьев, Залыгин, Можяев. Солженицын решительно подчеркивает то обстоятельство, что впервые слово берут крестьянские писатели. Толстой раз или два записал рассказы крестьян, но он всегда оставался барин, помещиком. А Белов и Распутин — настоящие крестьяне, живут на родине (один — на европейском Севере, другой — в Сибири), пишут тем свободным от всякого „европеизма” языком, которым грезит Солженицын. Хоть они и советские писатели, хоть их и печатают в СССР, они насквозь проникнуты этическими и религиозными ценностями русского крестьянского мира. Настоящая крестьянская литература, возрождение кучки интеллигенции, готовой на жертвы, на тюрьму и лагерь, — этого довольно, чтобы поддержать оптимизм Солженицына. Свет сегодня — из России!<sup>11</sup>

В конечном счете, нация для Солженицына — это личность. Как у любого человека, у нации есть лицо и совесть. Именно эта мысль и спасает Солженицына от греха национализма.<sup>12</sup> Странный националист, который требует ухода с нерусских земель, отступления на самую суровую и неблагодарную часть национальной территории, отказа от всякого империализма, всенародного раскаяния за грехи, совершенные против других народов! А дело все в том, что, в конечном счете, ничего нельзя понять ни в русских славянофилах, ни в Солженицыне, если не видеть религиозного источника их славянофильства. Солженицын не мог не читать страстного предупреждения философа Владимира Соловьева против „поклонения своему народу” (в работе *Славянофильство и его вырождение*; вошла в сборник *Национальный вопрос*). Для Соловьева стать частицей своего народа означает стать деятелем царства Божия, частицей иконы-нации; и первым к тому условием, как для нации, так и для личности, служит исповедание грехов. Есть нечто чрезвычайно важное в той настойчивости, с какою Солженицын напоминает о „даре раскаяния”, отличавшем русскую жизнь, о „прошенном воскресеньи”, о „волнах раскаяния”, набегавших регулярно и оздоравливавших русскую жизнь (Александр Герцен каялся в русской вине за подавление польского восстания 1863 го-

да). „В дальнем прошлом (до семнадцатого века) Россия так богата была движениями покаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт”. Хомяков и русские славянофилы тоже призывали своих современников к покаянию.

Не говорите: „То былое,  
То старина, то грех отцов,  
А наше племя молодое  
Не знает старых тех грехов”.  
Нет! этот грех — он вечно с вами,  
Он в вас, он в жилах и крови,  
Он сросся с вашими сердцами —  
Сердцами, мертвыми к любви.  
Молитесь, кайтесь, к небу длани!

Этот призыв Хомякова, обращенный в 1844 к молодой России и зовущий ее покаяться в крепостном праве, Солженицын бросает сегодня Советскому Союзу, повинному в ГУЛаге. Если национализм Солженицына и не свободен от пороков, их исправляет это первоначально нравственности, выметает его дуновение. Всякая власть развращает. Солженицын, как и славянофилы, противопоставляет власть видимую и нечистую невидимому и нравственному владычеству народа. С тою же мощью бойца, с какою он бросается в сражение, предается Солженицын и раскаянию, принимая свою долю вины за „волчью ненависть”, которую строил ГУЛак. Он даже восхваляет поражения и скорбит о Полтавской победе, которая потянула Россию к югу... Уже Константин Аксаков писал, что смысл русской истории — во всеобщем покаянии.

Солженицынское представление об истории тоже взято у славянофилов. Резкие перемены, о которых говорит Гегель, — только поверхность вещей. Подлинная история — трудна, достоверна и незрима. Трудна, потому что в основании имеет волю „мыслящих личностей”, как говорил апостол народничества Михайловский. Достоверна, потому что органична, не отделена от других планов жизни (биологического, экономического, духовного). Незрима, потому что она есть само таинство связи меж человеком и Богом. Когда наступит последнее просветление, радостный свет, возвещаемый

XI, 203

пасхальным тропарем, тогда единство нации обнаружится воочию. В Солженицыне живо видение Бого-Человечества, от которого сам Соловьев, возможно, отрекся под конец жизни. Быть русским — значит готовить Его пришествие. Солженицын неспособен избежать давнего недостатка русской мысли — презрения к делам, поклонения народу, который тем более свят, чем более замаран, осквернен. Один из персонажей *Августа Четырнадцатого* говорит: „Вы широко всё... А я шире России не умею”. Но нельзя упускать из виду, что эта Россия сегодня — арена борьбы прошлого с будущим, добра со злом. Солженицын ощущает это с интенсивностью физиологической и, я бы сказал, тотальной. Его Россия никого не исключает — ни палачей, ни жертв, ни людей, ни животных. Эта Россия верна памяти лагерных трудяг, чутко прислушивается к уцелевшим, открывается в гаме и гуле „вагон-заков”, где путешествуют неимущие Архипелага; это она открывается молодому Эрику Арvidу Андерсену, который прилип к переборке своей камеры-купе, а по другую сторону, в трех сантиметрах, молодая русская девушка, которой он не видит, шепчет ему тайну России: „И слитно с этой невидимой (и наверно, и конечно, и обязательно прекрасной) девушкой он впервые стал разгадывать Россию, и голос России всю ночь ему рассказывал правду. Можно и так узнать страну в первый раз... (Утром ещё предстояло ему увидеть через окно её тёмные соломенные кровли — под печальный шёпот затаённого экскурсовода)”. Незримый лик, нерукотворный образ, следы райской красоты, павшей на землю, красоты, которую ищут уже тысячу лет и не находят у себя под ногами, — все это Россия. Или, скорее, видеть все это — и значит: быть русским...

V, 498



Солженицын и его жена Наталья Светлова принимают гостей у себя в Кавендише (штат Вермонт)

Слева направо: Клод Дюран, Солженицын, Наталья Светлова,

Поль Фламан (директор издательства „Сэй“ в Париже) и Никита Струве



В Кавендише: Екатерина Фердинандовна Светлова (теща писателя), Солженицын, Мстислав Ростропович, Наталья Светлова, сыновья Ермолай и Игнатий



С женой Натальей Дмитриевной и сыном Ермолаем

## „С ТОГО БЕРЕГА”

„... Странная судьба русских – видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение, – русских, этих „немых”, как говорил Мишле”.

(Александр Герцен, введение  
к книге *С того берега*, 1855)

Все началось с горстки „новых декабристов”, которые в тюрьме-лаборатории, в московском пригороде, основали новую „Академию” свободных людей. В этом „ковчеге” мужской дружбы и мужского обмена мыслями родилась судьба и сила Солженицына. Сила, которая сделает его одним из самых значительных писателей нашего времени. Показывая миру ужасный комбинат рабства, он вновь утвердил литературу на моральных основаниях, без которых она не может быть всеобщей. Пророческая роль не умаляет в нем писателя. Бетховенская мощь его искусства, его видения, особой плотности его текста – очевидна. Богатство тональностей, жестокость иронии, жар полемиста поднимают его над всею прозой его страны. Но что всего больше приближает его к великим мастерам „на все времена”, таким как Гете или Толстой, – это, пожалуй, вновь обретенное могучее чувство земли, насыщенности и чистоты земного. Это оно придает необычайную действенность его яростным обличениям насилия и грязи на этой земле. Памфлетист и обвинитель в нем всегда в связи с чем-то необоримо „стихийным”, что нагружает его поэтику и дает ей остойчивость. Можно сказать, что низости человеческой истории пишутся на неприступном и недостижимом космическом фоне (у Шаламова исчезают и космос, и земля, и, конечно же, всякий след той травки, о которой Толстой говорил, что, вопреки людям, она всегда пробивается среди тюремных булыжников). „Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озёрами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя

не было тут никогда. Приходили ледники и уходили, гранитные валуны натеснялись вокруг озёр; озёра замерзали соловецкою зимнею ночью, ревело море от ветра; ... подрастали и толщали ели, квохтали и кликали птицы, трубили молодые олени — кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали, — а здесь всё не было хищных зверей и не было человека”. Так пишет Солженицын о Соловках.

VI, 28

Творчество Солженицына купается в этом мире, но — мире, найденном заново после ГУЛаговского катаклизма, примирении после истребления. „До чего было тихо! Поверить нельзя, как только что гремело здесь. Да вообще в войну поверить. Военные таились, скрывали свои движения и звуки, а обычных мирных — не было, и огней не было, вымерло всё. Густо-чёрная неразличимая мёртвая земля лежала под живым, переливчатым небом, где всё было на месте, всё знало себе предел и закон”.

XI, 202

Это примирение было сильнее страха, ненависти, гипноза тоталитаризма. Правда самые первые воспоминания Солженицына — он рассказал об этом Жоржу Сюферу — связаны с террором: „Мне было шесть лет. Мы с матерью в Ростове-на-Дону поселились в конце почти безлюдного тупика. Одна сторона его — стена, огромная стена. И я прожил там десять лет. Каждый день, возвращаясь из школы, я шёл вдоль этой стены и проходил мимо длинной очереди женщин, которые ждали на холоде часами. В шесть лет я уже знал. Да все это знали. Это была задняя стена двора ГПУ. Женщины были жёнами заключённых, они ждали в очереди с передачами”.

X, 238

Не будь земля чиста и невинна, солженицынские проклятия не имели бы своей настоящей силы. Невинность земли сообщает его творчеству безмятежную ясность — вопреки зверствам и мукам, которые оно изобличает. Широчайший диапазон его восприимчивости, опирающейся на поэтическую силу, на иронию, на необыкновенную свободу письма, отличает Солженицына от всей остальной современной русской словесности. Конечно, он не единственный и даже не лучший наблюдатель нынешних русских нравов. Другие тоже сумели и освоить и передать ускользающий от передачи опыт одинокого сопротивления тоталитаризму.

Солженицын не обладает богатством культурной „подпочвы” Юрия Домбровского, автора *Факультета ненужных вещей*, которому удалось перевести невероятность угнетения в целом на язык индивидуальных мифов и фантазмаговрий, пожалуй, более мощных, чем у Солженицына. Андрей Синявский с большим эстетизмом живописует культурное и космогоническое выживание заключенного в хилом космосе лагерной зоны. Но только Солженицын сумел в такой степени слить лиризм собственного страдания и раскаяния с „потоком” истории, сокрушительным потоком насилия, в котором человек-волк соразмеряется как с минувшим, так и с грядущим. Бесчисленные, как в математической теории, „номера”-жертвы заполняют солженицынское пространство, нестройно звучат их голоса, но мистический хорал поднимается над этим человеческим лесом.

Армия призраков, нашла бы она когда-нибудь доступ в человеческое, свидетельствующее пространство без этого одержимого, этого математика с цепкою памятью, этого прирожденного тактика, который вступил в бунт, как поступают в монашеский орден? Да, кое-что в нем раздражает, например — рвение прозелита, манихейство, опасно обнаруживающее себя в ненависти к Западу, который, однако же, спас его своими печатными станками. Но его сверхъестественное сопротивление, его убежденность, что память — единственное средство исцеления для нации, его наивная и свежая вера в действия Праведника не просто благотворны, они совершенно ничем не заменимы в нашей сегодняшней духовной жизни. Во многом они связаны с его религиозностью, набожным детством. Он вспоминает о долгих часах за богослужением, о том отпечатке, который они наложили и которого не смогли стереть ни жернова жизни, ни мудрствующие лукаво теории. Его вера напоминает пуританскую веру кальвинистов, янсенистов, старообрядцев. Есть что-то глубинно пуританское и в его религиозной любви к труду, соединяющейся с личным аскетизмом. Его вражда к богатству и изобилию, постоянное восхваление поста, недоверие к „чужим красотам” европейского искусства Санкт-Петербурга, порицание комфорта и всяческого „укоренения” в жизни (что, впрочем, не исключает любви к инженерному



делу, к хорошо налаженному хозяйству) — все эти черты характерны для парадокса пуританизма; Макс Вебер точно подметил, что добродетель, которую пуританизм проповедует, создает богатства, которых он гнушается.

Сегодня уже нет сомнений, что его вражда к тоталитарному режиму вписывается в более широкий контекст, а именно — в отказ от материалистической западной цивилизации. Глядя на „европейскую” индустриальную цивилизацию в ее третьем поколении, Солженицын осуждает всеобщую и смертоносную „гонку материальных благ” как на Востоке, так и на Западе, насмехается над евроцентризмом, предполагающим, что у всех человеческих культур — только один путь: непомерная индустриализация и правовая демократия (развитие индивидуума ограничивается лишь крайними пределами его прав). Образ Матрены, этот символ самоограничения, выживания нетронутой и потаенной народной культуры, — образец для Запада в той же мере, что для Востока. Но много ли Матрен в сегодняшней России, вступившей, как бы то ни было, в эту гонку, в погоню за материальными благами? Солженицын отвергает „западную модель”, и Запад отвечает ему все более запальчиво и раздраженно. Редакционная статья *Нью-Йоркера* от 12 февраля 1979 сопоставляет его с аятоллой Хомейни, подчеркивая, что оба поворачиваются спиной к безбожному Западу. Но было бы справедливее отметить, что редкостная прозорливость Солженицына позволила ему осмыслить многие события наших дней (в том числе — и переворот в Иране). Глубоко убежденный, что культуры, сопротивляющиеся Западу, ему и не уступят, он помещает среди них, рядом с исламом, Индией и Китаем — Россию, скрытую под идеологическим гримом. Это старая идея Шпенглера, но продуманная заново после катастрофы человеческого существования, которой Шпенглер и его современники не могли себе представить. Величие Солженицына в том, что избранная им самая общая точка зрения, склонность его к теократии, тревожный призыв к самоограничению, обращенный ко всем нациям, — всё сопряжено с человеческой личностью. На нижнем, мирском уровне он взывает к чести. Честь состоит в том, чтобы не марать своей души, быть лучше жертвою,

чем палачом; к чести взывает и полковник Воротынцев в *Августе Четырнадцатого*; честь требует от нас „жить не по лжи”. Но на высшем, положительном уровне – это призыв к **жертве**. Честь сближает героев Солженицына с героями античной древности – со стоиками и со средневековыми рыцарями. Жертва направляет их к христианской святости. Солженицын – не политик; вся его энергия обращена к „автономной” личности, а не к группе, служащей орудием политической стратегии. Каждое его произведение, каждое публичное выступление – урок автономии человеческой личности в „век колючей проволоки” или размышление об этой автономии. От природной автономии крестьянина Благодарева, который думает укрыться в Грюнфлиссском лесу, питаясь кореньями трав, до высшей автономии тех святых в ГУЛаге, чьи портреты он написал.

Этому манихею нужен открытый враг. Сделавшись историком, вступив в состязание со смертью, чтобы завершить „узлы” своего исследования русской революции, сумеет ли Солженицын-историк уберечься от искушения „свести счеты” с ненавистным либерализмом? Ненавидеть может герой сопротивления, но не историк. Возможно, он ошибся, начав исследование с 1914 года (с оглядом на 1911) – даты слишком поздней, когда игра была уже окончена. Было бы вернее судить русский либерализм в пору его подъема, в России земских учреждений, школ, Чехова, вечерних университетов, России без пышного фасада, но поднимавшейся малопомалу к цивилизации действенной и более справедливой. Заблуждается он, видимо, и в своем презрении к правовым формам гражданского общества, принимая на душу старый грех славянофилов и, в еще большей степени, их ложных наследников, типа Победоносцева.

Но каждое из его выступлений дышит глубочайшею убежденностью и, тем самым, приносит пользу миру. Около ста лет назад старец Зосима отправил своего ученика Алешу „в мир”. Мир этот принял ужасное волчье обличье; Солженицын испытал это на себе, нас же – заставил **увидеть**. Как и в душе Алеши, в его душе соседствуют пыл битвы и внутренний свет, тот мирный свет, к которому он приводит героев *Августа Четырнадцатого*.

Не он один показал ГУЛаг, размышлял о нем. Он сам упоминает целую армию диссидентов. Спор его с Сахаровым уже давно стал главным спором. Его предмет – ценность демократии. Сегодня Сахаров более или менее разделяет позицию Солженицына: „демократическое движение” уже не кажется сегодня реальным решением. На смену борцам и поэтам вроде Галанскова пришли скептики, молодое поколение, закалившееся в диссидентских схватках и вынесшее из них трезвость взгляда, новую для истории русской мысли: Амальрик, Буковский... Их мысль принимает иногда антирусское направление; искушение прибежищем славянофильства им совершенно незнакомо. Бок о бок с ними оказались представители старших поколений, часто – резко противоположные друг другу: Варлам Шаламов, оставшийся в СССР и заплативший за спокойствие верноподданическим заявлением; Виктор Некрасов, улыбчивый, скептический, акварелист и литератор, единственный, кто попросту наблюдает Запад; Владимир Максимов, терзающийся, осаждаемый, писатель разом и простонародный, и вычурный; Андрей Синявский, парадоксалист и эстет, поэт ГУЛаговского микрокосма, памфлетист розановского направления; Надежда Мандельштам, чей замечательный анализ феномена тоталитаризма весь целиком вышел из поэтической и трагичной прозрачности Осипа Мандельштама; Евгения Гинзбург...

И затем – один из последних новых эмигрантов философ-сатирик Александр Зиновьев. Его *Зияющие высоты* – жестокая сага о диссидентских деяниях и даже „сумма” всех человеческих деяний в условиях тоталитарного режима, зловещая фантазмагория, с выводами которой Солженицын согласился в февральском интервью 1979 года: коммунизм построен, утопия осуществилась, она есть не что иное, как диктатура посредственности. Зиновьев предлагает нам достигнутое будущее, в котором невозможны ни героизм, ни совершенство, где единственное спасение человека – в социальной мимикрии и в нравственной деградации. О Солженицыне, которого они называют Правдцем, герои *Зияющих высот* судят подчас сверху вниз: „Не надо его осуждать... Формируется человек в одиночку. Пишет так, чтобы никто об этом не догадывался. Если критика – при-



В Гарварде, вместе с президентом Университета Дерекком Боком  
(8-го июня 1978 г.)

страстный несправедливый погром. Если сочувствие – при-  
страстные некритичные дифирамбы... Правдец есть жертва  
обстоятельств, хотя и играет роль пророка. Потому и пре-  
тендует на роль наставника и судьи”. Зиновьев – ученый,  
специалист по многозначной логике. Рядом с его миром мир  
Солженицына кажется вполне „эвклидовским”. Меж ними  
пролегает невидимый рубеж судьбы: один пострадал от ста-  
линизма, другой пользовался его благодеяниями. Но рубеж  
еще более глубокий пролегал между логиком и моралистом.  
Логиком, который исходит из „системы” и идет к неумоли-  
мому пессимизму. Моралистом, который вышел из ГУЛага  
и направляется к Царству Избранных.

Неоспоримое величие Солженицына в том, что он при-  
ступил к титанической **мелиорации** истории нашего века. Не  
только выставляя на всеобщее обозрение бесчисленные „ка-  
налы”, питавшие невидимые острова Архипелага ГУЛаг, но  
и осушая болота наших душ. Он – пламенный, яростный,  
саркастический, жестокий ответ на нашу робкую непо-  
воротливость перед лицом тоталитарного Левиафана и на  
расспросы „взбунтовавшегося человека” (по формуле  
Камю). После него все стало яснее, все поздоровело. Этому  
дренированию нечистоты века и человеческой нечистоты  
он дал могучую поэтическую форму, лирическую и ирони-  
ческую разом, подняв на дыбы русский язык, чтобы вернуть  
ему народную энергию и пророческий смысл. Он живое  
доказательство того, что пути письма еще нужны истории.  
Потому что только письмо способно собрать и организовать  
гомерическую массу чувства, негодования, крика и молитвы,  
массу, без которой мысль не может объять век гулагов. Ни  
первый русский писатель тюрьмы, ни единственный писатель  
тюрьмы сегодня, Солженицын входит, в конечном счете,  
в долгую традицию, включающую не только Сильвио Пелли-  
ко или Достоевского, но и Святого Павла. От современников  
своих он отличается тем, что отвергает категорически тюрем-  
ное устройство, которое у Шаламова и Синяевского начинает  
мало-помалу править и внутренним и внешним мирами  
(и малой и большой зонами, говоря языком эзков) и,  
в конце концов, оцепляет зловещий мир логика Зиновьева,  
хотя тот и не изведал ГУЛага на собственной шкуре. В самой

сердцевине своего лагерного опыта Солженицын открыл не мрак абсурда, но сияние смысла. Там выковался окончательно его характер; там родился его зыскательный голос, одинаково раздражающий и Запад и Восток. Тюрьма для него не метастаз, от которого нет избавления и который захватывает весь организм нашего века, но „первая любовь” и рождение свободы.

Европейская литература до лагерей была „литературой тюрьмы”. Тюрьма, романтическая метафора, крепость, обороняющая „я”, местопребывание мятежного духа, место кошмаров и сплительных видений — она была одной из самых сильных литературных тем:<sup>1</sup> Фабрицио Стендаля, Пьер Безухов Толстого, Митя Карамазов Достоевского нуждаются в тюрьме, чтобы „выработать” самих себя. После Освенцима и после Колымы тюрьма, превратившаяся в концентрационный лагерь, перестает быть возвышенным местом раздумий, становится местом разложения, распада всего человеческого. Варлам Шаламов был, на мой взгляд, самым могучим истолкователем этого разложения человека в лагере. Мост между Освенцимом и Колымой, объясняющий связь двух тоталитаризмов, был переброшен Василием Гроссманом в его поразительном, вышедшем посмертно романе *Жизнь и судьба*.

Какое место в этой тематике занимает Солженицын? Освенцима в его раздумьях нет вовсе, и это понятно. Как раз тогда, когда Гроссман собирал материалы для *Черной книги* (запрещенной впоследствии), Солженицын отправился прямо с фронта в ГУЛаг. Лагерь, разрушитель человеческого в человеке, — Солженицын знает его, изучает, не обходит ни единого из проявлений его ужасающей разрушительной силы. Но мы показали, что все его усилия, все порывы направлены к преодолению лагеря и лагерной деградации человеческого. Показательно и то, что *Круг первый* восстанавливает метафору тюрьмы как замка, оберегающего „я”, где вырастает и крепнет душевный покой. Замок Граля мистически накладывается на злое концентрационное место. Пространство и человек разгибаются, выпрямляются, вновь обретают вертикаль: „Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали. Это была клиновидная щель

между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса — дремучего, первозданного”. Этот взгляд, уходящий ввысь в мистическом восхождении, — основа основ солженицынского видения, душа, поднимающаяся вопреки горизонтальной империи зла, триумф „гюрмы” над „лагерем”...

Сегодня на ристалище остаются два Солженицына. Первый — публицист поневоле, человек, питающий отвращение к политическим ролям, но сделавшийся политическим рупором, писатель, питающий отвращение к иронии, но ведущий борьбу на разрушение с помощью веры и иронии. Это Солженицын в изгнании; из своего американского уединения в Вермонте он пророчествует о „посте” во вселенских масштабах; он отваживает великих мира сего, который хотел бы прибрать его к рукам, и иногда отправляется с „государственным визитом” (или почти с „государственным”) — проповедовать новую веру самоограничения, национального возрождения, борьбы против коммунизма и за возвращение западному миру его утраченной мужественности. К этому Солженицыну все меньше прислушиваются западная пресса, радио, телевидение; его все больше ненавидят и поносят, все больше завидуют ему в русской эмиграции. Этот изгнанник вкушает от герценовского одиночества; прибывший на Запад и еще не так давно получивший от американского Сената предложение принять почетное гражданство Соединенных Штатов,<sup>2</sup> Солженицын, как великий эмигрант девятнадцатого века Герцен, отчаивается в Западе, которому он сулит „февраль 17-го”, и отчаянно цепляется за славянофильское видение России, чтобы не впасть в исторический пессимизм. Скажем прямо: у этого Солженицына все меньше шансов быть услышанным. По крайней мере — пока общее положение не ухудшается. Возможно, впрочем, что в глубинах публики его воздействие гораздо более значительно, чем можно подумать, судя по откликам западной интеллигенции. Возможно также, что он совершил роковую ошибку, составив себе представление о Западе лишь по некоторым внешним знакам упадка. Как бы то ни было, в области политики Солженицын — „мономан”, а к мономанам прислу-

шиваются только тогда, когда их правоту подтверждает катастрофа. Можно сколько угодно доказывать несправедливость и даже лживость кампании, которую без передышки ведут против него „демократы” из русской эмиграции, можно сколько угодно высмеивать „запугивание русским национализмом”, которое свирепствует вокруг него, – поделать ничего нельзя: изгнанник попался в сети изгнания. Но разве главное уже не достигнуто? Разве пророческий голос Солженицына – наряду с другими голосами – уже не распрямил души?

С одной стороны, Анна Ахматова поверяет Лидии Чуковской 30 октября 1962: „Светоносец! Свежий, подтянутый, молодой, счастливый! Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные камни. Строгий, слышит, что говорит”.

С другой стороны, Н. Лепин (Л. Пинский) в замечательно умных и острых *Парафразах и памятованиях* иронизирует: „Пророческий дар от Исаяи до Исаича, увы, неузнаваемо деградировал!”

Но остается и второй Солженицын, тот, кто, „откатив” глыбу *Архипелага* и романов о человеческом существовании в концентрационном мире, взялся за *Красное колесо*, огромное „повествование в отмеренных сроках”, из которого нам известны лишь первые тома „действия первого”. Это „действие” названо „Революция” и включает *Август Четырнадцатого*, удвоившийся в объеме (2 тома), *Октябрь Шестнадцатого* и *Март Семнадцатого* (всего восемь томов!). Когда автор „откатит” эту вторую исполинскую глыбу первого действия, останутся ли у него еще силы и время, чтобы приняться за третью?

Из того, что мы знаем о *Красном колесе*, прежде всего поражает упорство в исполнении замысла: задуманная в отрочестве эпопея вобрала главы, написанные автором в восемнадцатилетнем возрасте, в Ростове-на-Дону, непрерывная работа началась, едва завершён был *Архипелаг*, кавендишский отшельник проводит над нею дни и ночи в своем кабинете, укрытом в северных лесах Вермонта. „Почему-то знал уже с девятилетнего возраста, что буду писателем. Я задумал мою большую книгу о революции



(*Август Четырнадцатого* и последующие узлы), когда мне было 18 лет. И потом никогда от этого замысла не пришлось отказываться. Я начал воплощать его в 1938-39. Потом пошел на войну, потом тюрьма, лагеря. Когда же вернулся из ссылки и перечитал почти забытые мною главы — то кое-какие почти и не пришлось изменять. Они заняли сразу же место, на которое были предназначены”.

Солженицын объяснил, что пишет свой роман-эпопею тем же методом, какой применялся в *Архипелаге*: собирание материала в гигантских масштабах, измельчение всей этой информации в „мозаику”, сплавивание „мозаики” по принципу узлов. Каменщик в первую голову (как его герой Иван Денисович), Солженицын постоянно тревожится об **уплотнении**. Построение узлов, концентрация исторического действия, даже уплотненность синтаксиса — все способствует борьбе против смерти, против исчезновения пережитой человеком истории. Автор настаивает больше, чем нужно, на своей личной связи с событиями — через воспоминания детства, через свидетелей, которых он знал лично. Эта потребность в прямой связи — основная в поэтике Солженицына, поэтике „прямой передачи”, „быстрохватывающегося раствора”.

Всего более озабочен Солженицын оживлением пережитого, установлением прямых, непосредственных (как непосредствен взгляд) отношений с ним. Ритм — решающий элемент в его художественном построении. Отсюда и странный подзаголовок — „повествование в отмеренных сроках”, отсюда и перемены ритма, подчиняющиеся точному метрону, который знает, что должен стучать на протяжении более чем шести тысяч страниц. Медленный ритм начала *Августа Четырнадцатого*, „замедлено сознательно”: это ритм отправления в путь, неторопливого, семейного, старинного, ритм, который уже не повторится, потому что разрушительное колесо катится все скорее. Главы дидактические с медленным ироническим ходом, главы-монологи (монолог Монарха, в котором взгляд приносится к врожденной нерешительности), механизм монтажа убийства Столыпина в киевском Большом театре, то летящий во весь дух, то притормаживаемый, короткие зримые стихотворения глав

экранов, долгие и тяжеловесные психологические объяснения, в которых автор разглядывает своих героев под увеличительным стеклом, раздробленность и взбодораженность моментальных фотографий улицы – гигантское произведение Солженицына не будет ни *Войной и миром*, ни *Человеческой комедией*, ни *Ругон-Макарми*. Солженицын сумел преодолеть старую семейную схему и найти новую архитектуру, основанную на эпизодах действия, поданных крупным планом. Классический персонаж исчезает, не служит более **связующим звеном**. Связь обеспечивается не временем завоевания (как у Бальзака), ни биологическим временем (как у Толстого), ни временем припоминания (как у Пруста), но устремленностью времени к будущему. Длинные, крупные планы, я бы сказал даже – умышленная наивность Солженицына суть, раньше и прежде всего, средства сопротивления этому ускорению ритма жизни. Ведь, вообще-то говоря, как во всех великих и спасительных литературных трудах, так и здесь: цель – это овладеть временем.

Конечно, еще слишком рано судить о *Красном колесе*. Мы еще слишком далеко от намеченных двадцати узлов, от восьми „видов повествования”. Эпопея только набирает ритм. Но уже ритм *Августа Четырнадцатого* – с его царственной неспешностью погребения старой Руси, со скомканными и синкопированными главами о разгроме, с глубоким и ясным дыханием в созерцаниях космоса, со вспышками другой мудрости мира, мудрости народа, открывающейся в его пословицах, которые приносят суждение со стороны, – позволяет нам разглядеть в рождающейся эпопее Солженицына произведение, идущее против течения (в глубоком смысле слова), течения, которое расшатывает старинную культуру, произведение, которое хочет понять и хочет простить.

Великий поэт-сатирик, гнушающийся сатирой, политик, испытывающий омерзение к политике, радеть об „уплотненности” в искусстве и писатель с „экономией средств”, требующий безмерных пространств письма, великий христианский поэт, который, однако, как и иные хулители современной христианской литературы (Леон Блуа, Жорж

Бернанос), категорически не согласен вмешивать Христа в мерзости мира, пророк ограничения и взаимного прощения, вдыхающий, однако, в свое слово энергию, а случается, и неистовый запал, которые могут быть (казаться) несправедливыми и непомерными, Солженицын – парадоксальный русский писатель. Лучше всего, пожалуй, предоставить здесь слово ему самому:

„Я слова „возврат” всегда избегаю... Потому что какой же возврат, мы всё время идём куда-то вперёд. Я мечтал бы о наибольшей лаконичности. Но как в современном мире, нагруженном понятиями, какими действиями, как этой лаконичности достичь, не обеднив содержания, вот вопрос”.

X, 540

В Кавендише с сыновьями Ермолаем, Игнатием и Степаном →  
„Да невозможно жить не в России!”



## ПРИМЕЧАНИЯ

### ВЕХИ

- 1 Солженицын, непонятно почему, изменил свое отчество „Исаакъевич” на „Исаевич”.
- 2 „Кочетовка – реальное название станции... Название было смениено на „Кречетовка” из-за остроты противостояния *Нового мира* и *Октября* (главный редактор – Кочетов)”. Примечание Солженицына в Собрании Сочинений.

### „... И ОТ КРИКА БЫВАЮТ ОБВАЛЫ”

- 1 Французский перевод вышел раньше русского оригинала, в 1949 году, в Париже, под названием *Жизнь нечеловеческая. – Пять лет в советских концентрационных лагерях.*

### СПОРЫ

- 1 D\*, *Стремя „Тихого Дона” (Загадки романа)*, УМСА-Press, Париж, 1974.
- 2 Nikolai Tolstoy, *The Secret Betrayal*, New York, 1978.
- 3 По-русски – в журнале *Сион*, № 14, Тель-Авив, 1976; по-английски – *Soviet Jewish Affairs*, Vol. 7, No. 1, London, 1977.

### КОНТИНЕНТЫ РЕАЛЬНОСТИ

- 1 Вышли три тома: *Хранить вечно, И сотворил себе кумира..., Утоли моя печали.*
- 2 Сам Солженицын был бригадиром на лагерном кирпичном заводе. Надо отметить, что Нержин из *Республики труда* становится Немовым в „облегченном” варианте пьесы (*Олень и шалашовка*). Не потому ли, что автор опасался раскрыть имя самого близкого ему главного героя?
- 3 См. Михаил Геллер, *Концентрационный мир и советская литература*, Лондон, 1974.

- 4 В одном интервью (октябрь 1979) Сиявский злорадно напоминает об этом утверждении сегодняшнему Солженищину, притязующему на роль и звание историка (*New York Review of Books*, XXVI, 18).
- 5 Солженищин признает даже, что глубина проникновения в Персонажа привела к частичной идентификации с ним. Он писал ленинские главы в 1970 году в Рязани; на улице, перед его окном „как раз и портрет Персонажа твердили (навек) ... и хорошо пошло!”

## ЗАМКИ СВОДА

- 1 Интервью с Никитой Струве от 22 февраля 1977.
- 2 Следует отметить, что рассказ Тюрина своей бригаде в *Иване Денисовиче* „неполон”. Солженищин „дополняет” его в *Архипелаге ГУЛаг* (VII, 2).
- 3 Стенографический отчет о расширенном заседании бюро секции прозы Московской писательской организации Союза писателей РСФСР (16 ноября 1966).
- 4 Интервью с Павлом Личко в марте 1967. См. *Kulturny Zivot*, Bratislava, 1967, No. 13.
- 5 В том же интервью с Никитой Струве. *1919* был переведен на русский язык в 1933. Солженищин прочел роман на Лубянке.
- 6 Ирина Томчак говорит о затмении, описанном в *Слове о полку Игореве*, и еще о двух затмениях – в Куликовскую битву и во время Северной войны.
- 7 Шаламов провел четверть века (с 1929 по 1956) в разных лагерях, дольше всего пробыл на Колыме. В Советском Союзе его рассказы никогда не печатались. Предположительно полный их текст (113 рассказов) вышел в Лондоне в 1978 году с предисловием Михаила Геллера. Существуют и переводы на европейские языки, в том числе – полный французский перевод, выпущенный левым парижским издательством „Масперо”.
- 8 См. *Политика*, 1: страсть к деньгам (по-гречески „деньги” – *chreima*) рождается заботой о своей жизни, но истинной заботой человека должна быть не просто жизнь, а **хорошая жизнь**.
- 9 *Cahiers de l'Herne*, с. 51.
- 10 В *Теленке* Солженищин рассказывает о том, как он возник, но самый текст не приводит.
- 11 В 1976 г. Солженищин сообщил японскому профессору Г. Учимара, тоже бывшему эзку, что эта молитва родилась случайно и не предназначалась для печати.

## БОРЕЦ

- 1 Не странно ли: Солженицын забывает, что это слова Христа из сцены „Призвание Симона и Андрея” (От Матфея, IV, 48). Или это ироническая стрела?
- 2 Подробно я сопоставил два опубликованных варианта *Круга* в статье по-французски, появившейся в 1980 году в журнале *Коммантер*.
- 3 Речь идет о *Либерасьон* конца 40-х годов, которой руководил Эмманюэль д’Астье де Ла Вижери.
- 4 Что касается документов, относящихся ко времени до 1970, самый полный их сборник вышел по-французски в 1970. Все политические тексты Солженицына собраны в *Теленке* и в 9-10 томах Собрания Сочинений.
- 5 Елизавета Воронаяская перепечатывала рукопись *Архипелага* и хранила у себя один экземпляр. Она была арестована КГБ, ее вынудили выдать свой тайник; после возвращения с допроса ее нашли мертвой в ее комнате. Эти события заставили Солженицына решиться на немедленную публикацию книги на Западе.

## ВОИН БОЖИЙ

- 1 11 апреля 1975, в ходе передачи французского телевидения, мне представилась возможность задать Александру Солженицыну вопрос об удивительной связи между Самсоновым и Твардовским. Ответ на мой вопрос можно прочесть в 10 томе Собрания Сочинений: „И вот мне стало вдруг Твардовского легче понять через Самсонова, а Самсонова через Твардовского, просто они перекрестились у меня в голове и в сердце. У них разное происхождение, воспитание, судьба... А вот не бесконечно разнообразны люди и ситуации, что-то повторяется. И какая-то национальная черта здесь повторилась, и нечто личное, и даже физическое – крупность фигуры и мягкие свойства характера. Это меня потрясло”.
- 2 То же говорится о Володине в *Круге* (глава 44 нового варианта).
- 3 Прочитирую для примера следующий отрывок: „Громко отрицающий всякое насилие, в особенности революционное, автор *Теленка* сам не замечает, что культивирует идею смертельной борьбы, смешно сходясь со своими антагонистами даже в привычной для них военной фразеологии” (*Солженицын, Твардовский и „Новый мир” в: Двадцатый век, № 2, Лондон, 1977*).
- 4 Это военное (и толстовское) сравнение категорически не нравится Лакшину.

## ПИСАТЬ ПО-РУССКИ!

- 1 Vera V. Carповich, *Solzhenitsyn's Peculiar Vocabulary*, New York, 1976. Лингвист Борис Унбегаун написал исследование о „языке Солженицына”.
- 2 Синаевский (в упоминавшемся уже интервью) видит в этом неологизме не только неблагозвучный „советизм”, но и своего рода „революционный утопизм”.
- 3 См. Лев Копелев, *Солженицын на шарашке*, в журнале *Время и мы*, № 40, 1979.
- 4 Замятин прославился, главным образом, антиутопическим романом *Мы*, из которого многое позаимствовал Орвелл. В 1929 году он получил разрешение эмигрировать и умер в Париже. Цветаева же была в эмиграции, но вернулась в Россию в 1939 и повесилась в Елабуге в 1941. Это не случайно, что Солженицын ссылается на двух авторов полусоветских-полуэмигрантских, чьи судьбы, казалось бы противоположные, одинаково символизируют мученичество русской литературы в двадцатом веке.

## БЫТЬ РУССКИМ!

- 1 Не мелочная ли месть стране, где он чувствовал себя в заперти и где налоговые власти кантона Цюрих чинили ему неприятности?..
- 2 Winfried Scharlau, Zbynek Zeman, *Freibeuter der Revolution*, Köln 1964.
- 3 Из симпатии к Столыпину он переименовывает тюремные вагоны, называвшиеся с 1910 года „стольпинскими” в „вагон-заки”, возвращая им их сегодняшнее официальное наименование. О Столыпине Солженицын говорит уже в *Письме вождям*.
- 4 Конечно же, Алеша и Иван вызывают в памяти двух братьев Карамазовых, обсуждающих в русском трактире проблему существования Божия: pro et contra.
- 5 По Солженицыну, этот противоестественный союз был навязан монархии Витте и другими „либералами”.
- 6 Американский историк Ричард Пайпс нашел в интервью, которое вел Сапизтс, буквальные заимствования у Победоносцева, знаменитого оберпрокурора Святейшего Синода, друга Достоевского под конец его жизни и теоретика исторического иррационализма. Это от него идет оставаемая Солженицыным мысль о непомерном могуществе демократической прессы.
- 7 Монументальные романы Мельникова-Печерского о повседневной жизни заволжских общин, шедевры фольклорного письма и „старо-русского стиля”, определенно оказали влияние на Солженицына.



- 8 Во втором томе *Архипелага ГУЛаг* Солженицын называет число жертв революции и сталинской диктатуры: 66 миллионов. Эта страшная цифра взята из трудов демографа И. А. Курганова, который, объясняя „дыры” в демографической статистике СССР, определил потери населения между 1917-м и 1959-м годами в 110 миллионов и больше половины их отнес за счет политических событий. Статья Курганова, послужившая источником для Солженицына, была опубликована сначала по-русски в Нью-Йорке в 1964, а затем по-французски в журнале *Эст-Уэст* в мае 1977. В более новом и лучше аргументированном исследовании другой демограф, на сей раз советский, напечатавшийся на Западе под псевдонимом Максудов, приходит к цифре 42 миллиона жертв. Максудов пишет: „Сколько их кануло в бездну? Этот вопрос сохраняет всю свою остроту. С болью и гневом поднимается он со страниц *Архипелага*... Но время созывать „соброр отверженных” еще не пришло. Даже общие оценки – „сколько в целом? примерно?” – колеблются в пределах десятков миллионов” (*Cahiers du monde russe et soviétique*, vol. XVIII – III, 1977).
- 9 „А между тем Азия – да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем, – опять восклицаю это! И если б совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи – о, какой бы корень был тогда оздоровлен!” (*Дневник писателя*, январь 1881).
- 10 См. журнал *Время и мы*. В январском номере 1978 года, к примеру, помещена язвительная статья против сборника *Из-под глыб* и еще одна статья, о „деревенской литературе”, зло нападающая на Федора Абрамова.
- 11 Многие западные умы также внимательно следят за нынешним духовным возрождением в России. Назову, среди прочих, католического писателя Станисласа Фюме.
- 12 Заметим – в доказательство нелогичности истории, – что после выхода *Августа Четырнадцатого* Солженицына обвиняли также в прогерманизме, пораженчестве, антинационализме.

## „С ТОГО БЕРЕГА”

- 1 См. Victor Brombert, *The Romantic Prison*, Princeton, 1978.
- 2 Это было в 1974. Палата Представителей этому предложению воспротивилась.
- 3 См. Юрий Фельштинский, *Солженицын и социалисты*, Нью-Йорк, 1983.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Чтобы познакомиться с произведениями Солженицына, всего разумнее обратиться к еще не завершеному собранию его сочинений, которое начало выходить в Париже в 1978 году.

Собрание Сочинений

Тт. 1-2 *В круге первом.*

Т. 3 Рассказы: *Один день Ивана Денисовича. – Матрёнин двор. – Крохотки. – Правая кисть. – Случай на станции Кочетовка. – Для пользы дела. – Захар Жалитá. – Как жаль. – Пасхальный крестный ход.*

Т. 4 *Раковый корпус.*

Тт. 5-6-7 *Архипелаг ГУЛag.*

Т. 8 Драматическая трилогия *1945 год: Пир победителей. – Пленники. – Республика труда. Свет, который в тебе (Свеча на ветру). Знают истину танки. Тунеядец.*

Т. 9 Публицистика (статьи и речи).

Т. 10 Публицистика (общественные заявления, интервью, пресс-конференции).

Тт. 11-12 *Август Четырнадцатого.*

Это собрание сочинений включает неизданные тексты, как, например, рассказ *Как жаль*, пьесы *Пир победителей*, *Пленники*, киносценарии *Знают истину танки*, *Тунеядец*.

Включает оно равным образом и новые варианты известных текстов. Речь идет либо о незначительных стилистических поправках (*Раковый корпус*), либо об очень существенных переделках (*В круге первом*, *Август Четырнадцатого*), либо о важных исправлениях и дополнениях (*Архипелаг ГУЛag*, *Один день Ивана Денисовича*, *Матрёнин двор*).

Солженицын объясняется по этому поводу в общем предуведомлении „От автора” и дает для каждого произведения историю текста, которая служит ценным источником сведений.

Те, кто желал бы изучить творчество Солженицына более основательно, должны конечно, сравнить окончательные варианты с предыдущими изданиями, — опубликованными в Советском Союзе, появившимися в издательстве ИМКА-Пресс в Париже. Издания „Посева” в этом отношении интереса не представляют. Упомянем кстати, что существует несколько изданий более или менее „пиратских”, относящихся ко времени, когда Солженицын был еще в Советском

Союзе, например, *В круге первом*, Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1968. Это было факсимильное воспроизведение машинописи, полученной из России. А так как первый лист был потерян, название воспроизвели „по памяти” – и неточно: „В первом кругу”. Есть и „пиратские” издания переводов.

Наконец, не следует забывать, что Солженицын до сих пор не включил в Собрание Сочинений *Бодался теленок...* Книга вышла в Париже в 1975 г.; там же вышло и дополнение *Сквозь чад* (1979). Оно принадлежит ко второму тому „Очерков литературной жизни”.

#### **Работы о Солженицыне**

Я предлагаю читателю избранную и очень ограниченную библиографию, потому что полная была бы бесконечной. В 1973 году появилась книга

*Alexander Solzhenitsyn, An International Bibliography of Writings by and about him.* Compiled by Donald V. Fiene, Ann Arbor.

Эта работа, содержащая 2465 библиографических описаний, не обновлялась и не дополнялась. Но с весны 1980 выходят

*Solzhenitsyn Studies. A Quarterly Survey*

начала в Colgate University (США), потом в University of Lancaster (Англия). Если редактору (Michael A. Nicholson) удастся сохранить ритм издания, оно будет основополагающей работой для всякого исследования творчества и жизни Солженицына.

Из коллективных работ назовем следующие:

*Solzhenitsyn, A Documentary Record.* Edited by Leopold Labedz. London, 1970.

*Soljenitsyne, „Cahiers de l'Herne”,* dirigé par M. Aucouturier et G. Nivat. Paris, 1971.

*Ueber Solschenizyn, Aufsätze, Berichte, Materialien.* herausgegeben von Elisabeth Markstein und Felix Philipp Ingold. Darmstadt-Berlin, 1973.

*Soljenitsyne le croyant.* Lettres, discours, témoignages. Par André Martin. Paris, 1973.

*Soljenitsyne, colloque de Cerisy.* Paris, 1974.

*Alexander Solzhenitsyn, Critical Essays and Documentary Materials.*

By John Dunlop, Richard Haugh, Alexis Klimoff. London, 1975.

*Solzhenitsyn, A Collection of Critical Essays.* By Kathryn Feuer. Englewood-Cliff, 1976.

О языке Солженицына:

Vera V. Carповich, *Solzhenitsyn's Peculiar Vocabulary.* New York, 1976.

Роман Гуль, *Читая „Август Четырнадцатого”.* Нью-Йорк, 1971.

Леонид Ржевский, *Язык творческого слова.* Нью-Йорк, 1970.

О жизни Солженицына и некоторых спорных ее эпизодах:

David Burg & George Feifer, *Solzhenitsyn. A Biography.* London, 1972.

Димитрий Панин, *Записки Сологодина.* Франкфурт-на-Майне, 1973.

- Ж. А. Медведев, *Десять лет после „Одного дня Ивана Денисовича“*, Лондон, 1973.
- Н. Решетовская, *В споре со временем. /Агентство печати „Новости“/* 1975.
- Olga Carlisle, *Solzhenitsyn and the Secret Circle*. New York, 1978.
- Илья Зильберберг, *Необходимый разговор с Солженицыным*. Sussex, 1976.
- William Klaus, *Inside Russian Medicine*. New York, 1981 (одна глава посвящена Солженицыну) .
- Лев Копелев. *Утоли моя печали*. Ann Arbor, 1981.  
Об Архипелаге ГУЛаг и его предшественниках:
- Михаил Геллер, *Концентрационный мир и советская литература*. Лондон, 1974.  
Об Августе Четырнадцатого:  
„Август Четырнадцатого“ читают на родине. Париж, 1973.  
Из полемических сочинений:
- Alain Bosquet. *Pas d'accord Soljenitsyne!* Paris, 1974.
- Димитрий Панин, *Солженицын и действительность*. Париж, 1975.
- Владимир Лакшин, *Солженицын. Твардовский и „Новый мир“*. В: *Двадцатый век. Общественно-политический и литературный альманах*. Лондон, 1977.
- Юрий Фельштинский. *Солженицын и социалисты*. Нью-Йорк, 1983. (Ответ Чалидзе, Эткинду и другим.)  
Несколько монографий:
- Georg Lukács. *Solschenitzyn*. Berlin, 1970.
- Р. Плетнев, *А. И. Солженицын*. Париж, 1973.
- Pierre Daix. *Ce qui je sais de Soljenitsyne*. Paris, 1973.
- Georges Nivat. *Sur Soljenitsyne*. Lausanne, 1974.
- Olivier Clément, *L'esprit de Soljenitsyne*. Paris, 1974.
- Claude Lefort. *Un homme en trop, réflexions sur l'Archipel de Goulag*. Paris, 1976.
- Corinne Marion. *Qui a peur de Soljenitsyne?* Paris, 1980.
- Эмиль Коган. *Соляной столп. Политическая психология Солженицына*. Париж, 1982.
- Анатолий Краснов-Левитин, *Два писателя*. Париж, 1983.  
Наконец – несколько статей и отдельных глав из книг:
- Андре Глюксман, *Кухарка и людоед*. Лондон, 1980.
- Alain Besançon. *Soljenitsyne à Harvard*. In: *Commentaire*, 1979 No. 4.
- Eric Werner. *Mystique et politique*. Lausanne, 1979.
- Serge Moscovici. *Psychologie des minorités agissantes*. Paris, 1979.
- Paul Thibaud, *Une lecture politique du Goulag*. In: *Esprit*, Paris, juillet 1976
- Simon Markish. *Jewish Images in Solzhenitsyn*. In: *Soviet Jewish Affairs*, 1977 No. 1.

Richard Pipes. *Solzhenitsyn and the Russian Intellectual Tradition*. In: *Encounter*, June 1979. /Солженицын и Победоносцев/  
Thomas Venclova, *Prison as Communicative Phenomenon: the Literature of Goulag*. In: *Comparative Civilization Review*, 1979, II.  
Andrey Siniavsky, *Solzhenitsyn and Russian Nationalism*. In: *The New York Review of Books*. 22 November 1979.

Русские эмигрантские газеты и журналы, все без исключения, во множестве печатали статьи о Солженицыне или против него. Назову: Григорий Померанц, *Сон о справедливом возмездии*. В: *Синтаксис* № 6 (1980).

Н. Лепин (Л. Пинский), *Парафразы и памятования*. В: *Синтаксис* № 7 (1980).

A large, stylized handwritten signature in black ink. The word "Pipes" is written in a cursive, flowing script. The letter 'P' is particularly large and loops around the start of the word. The signature is underlined with a thick, horizontal stroke.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

К русскому читателю	5
Вехи	9
„... И от крика бывают обвалы”	29
Споры	35
Континенты реальности	57
Замки свода	101
Борец	129
Воин Божий	151
Писать по-русски!	175
Быть русским!	195
„С того берега”	221
Примечания	236
Библиография	241







Обложка первого русского издания *Архипелага Гулага* →



**А. СОЛЖЕНИЦЫН**

**АРХИПЕЛАГ  
ГУЛАГ**

В кабинете он сел за стол и писал.

«Оперативный пункт ТО НКВД.

Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной...»

— Собирайся!— сказал он Гуськову.— Возьми бойца и отвезешь его в узел.

Прошло несколько дней, миновали и праздники.

Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице.

Все сделано было, кажется, так, как надо.

Так, да не так...

Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант или уж освобожден давно. Зотов позвонил в узел, в оперативный пункт.

— А вот я посылал вам первого ноября задержанного, Тверитинова. Вы не скажете — что с ним выяснилось?

— Разбираются!— твердо ответили в телефон.— А вы вот что, Зотов. В актах о грузах, сгоревших до восьмидесяти процентов, есть неясности. Это очень важное дело, на этом кто-то может руки нагреть.

И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его еще позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным.

Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай:

— А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.

— А почему вы спрашиваете?— нахмурился следователь значительно.

— Да просто так... интересно... чем кончилось?

— Раз-берутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает.

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...

## Матренин двор

**Н**а сто восемьдесят четвертом километре от Москвы еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ошупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? Из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это все.

Да я.

1

Летом 1953 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с листовным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила.